

Аѳанасій Аѳанасьевичъ

ФЕТЪ (ШЕНШИНЪ)

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ



Сборникъ историко-литературныхъ статей

СОСТАВИЛЪ

В. И. Покровскій

Москва 1911.

# Аѳанасій Аѳанасьевичъ ФЕТЪ (ШЕНШИНЪ) ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

---

Сборникъ историко-литературныхъ статей.

---

СОСТАВИЛЪ

**В. Покровскій.**

---

Изданіе 2-е, дополненное.



**МОСКВА.**

Складъ въ книжномъ магазинѣ В. СПИРИДОНОВА и А. МИХАЙЛОВА.

Моховая, уг. Тверской, д. Варварин. Аки. О-па. Тел. 120--95.

1911.



ТІПОГРАФІЯ Г. ЛІССНЕРА И Д. СОВКО.  
Москва, Воздвиженка, Крестовосад. пер., д 9,

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

---

Во второмъ изданіи помѣщены слѣдующія новыя статьи:  
Некрологъ Фета, изъ «Прав. Вѣстника» 1892 г., № 256. — Раз-  
личныя стороны поэтической дѣятельности Фета, *Григорьева*. —  
Фетъ, Майковъ и Тютчевъ въ изображеніи природы, *Дружини-  
нина*. — Музыка любви въ поэзіи Фета, *Стечькина*.

---

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стран.</i>
Аѳанасій Аѳанасьевичъ Феть (біографическій очеркъ), <i>Трубачева</i> . . . . .	1
Некрологъ Фета, <i>Изъ «Правительственнаго Вѣстника» 1892 г., № 256.</i> . . . . .	7
Особенности лирической поэзіи, <i>Соловьева</i> . . . . .	9
Отношеніе критики и журналистики къ поэзіи въ 50-хъ гг., <i>Дружинина</i> . . . . .	19
Очеркъ литературной дѣятельности Фета, <i>Чешихина</i> . . . . .	21
Стихотворенія Фета со стороны содержанія и формы, <i>Всев. Чешихина</i> . . . . .	24
Творчество Фета, <i>Дружинина, Майкова</i> . . . . .	25
Непосредственное художественное настроеніе поэзіи Фета, какъ пѣвца вѣчнаго значенія истинной поэзіи, <i>Астафьева</i> . . . . .	34
Художественный даръ и тонкое поэтическое чувство, которыми запечатлѣны стихотворенія Фета, <i>Боткина</i> . . . . .	49
Поэзія Фета — выразительница легкихъ, едва уловимыхъ движеній души, движеній минутныхъ, мгновенныхъ, остановившихся, <i>бар. Дистерло</i> . . . . .	59
Природа и человѣкъ, какъ источники свободного и самобытнаго творчества Фета, <i>его же</i> . . . . .	66
Картины природы въ произведеніяхъ Фета, <i>Боткина</i> . . . . .	72
Антологическія стихотворенія Фета, <i>его же</i> . . . . .	80
Различныя стороны поэтической дѣятельности Фета, <i>Григорьева</i> . . . . .	82
Феть, Майковъ и Тютчевъ въ изображеніи природы, <i>Дружининъ</i> . . . . .	86
Феть, Бодлеръ, Гейне, Тютчевъ, <i>бар. Дистерло</i> . . . . .	89
Музыка любви въ поэзіи Фета, <i>Стечьмина</i> . . . . .	94
Значеніе поэзіи Фета, <i>Дружинина, Боткина</i> , . . . . .	96



## Аванасій Аванасьевичъ Фетъ (біографическій очеркъ).

Фетъ, Аванасій Аванасьевичъ, извѣстный поэтъ, родился 23 ноября 1820 года въ деревнѣ Новоселки, въ семи верстахъ отъ города Мценска, Орловской губ., умеръ 21 ноября 1892 года въ Москвѣ. Отецъ его, ротмистръ въ отставкѣ, принадлежалъ къ старинному дворянскому роду Шеншиныхъ. Въ 1819 году онъ женился въ Дармштадтѣ на Шарлоттѣ Фетъ, дочери оберъ-крюгсъ-комиссара Беккера, носившей фамилію Фетъ по первому мужу, съ которымъ она развелась. Будущій поэтъ былъ первенцемъ отъ этого брака, совершеннаго за границею по лютеранскому обряду и не имѣвшаго у насъ законной силы. До 14 лѣтъ мальчикъ носилъ фамилію Шеншина, а затѣмъ принужденъ былъ принять фамилію матери, такъ какъ обнаружилось, что православное вѣнчаніе ея совершено послѣ рожденія сына. Только по Высочайшему указу 26 декабря 1873 г. за Аванасіемъ Аванасьевичемъ была утверждена фамилія отца, со всѣми связанными съ нею правами. Въ годы дѣтства, проведенные въ Новоселкахъ, главное вліяніе на будущаго поэта имѣли мать и дядя, Петръ Неофитовичъ; благодаря первой, мальчикъ прекрасно овладѣлъ нѣмецкимъ языкомъ, а благодаря второму, человѣку образованному и начитанному, любителю поэзіи и исторіи, не скрывавшему своей исключительной любви и привязанности къ племяннику, развивались и поощрялись поэтическія наклонности послѣдняго. 14-ти лѣтъ Фетъ былъ отведенъ въ пансіонъ Крюммера въ гор. Верро, Лифляндской губ., гдѣ провель три года. Для подготовки въ московскій университетъ Ф. былъ отведенъ въ Москву и опредѣленъ въ частный пансіонъ М. П. Погодина, въ домѣ котораго жилъ и нѣкоторое время студентомъ, сначала юридическаго, а затѣмъ словеснаго факультета. О началѣ своего пребыванія въ московскомъ университетѣ Ф. въ книгѣ «Ранніе годы моей жизни» говоритъ, между прочимъ, слѣдующее: «Ни одинъ изъ профессоровъ, за исключеніемъ декана Ив. Ив. Давыдова, читавшаго эстетику, не умѣлъ ни на минуту привлечь моего вниманія, и, посѣщая по временамъ лекціи, я или дремалъ, поставивши кулакъ на кулакъ, или старался думать о другомъ, чтобы не слышать тоску наводящей болтовни. Зато желтая моя тетрадка все увеличивалась въ объемъ, и однажды я рѣшился отправиться къ Погодину за приговоромъ моему эстетическому стремленію. — «Я вашу тетрадку, почтеннѣйшій, передамъ Гоголю», сказалъ Погодинъ, «онъ въ этомъ случаѣ лучшій судья». Черезъ недѣлю я получилъ отъ Погодина тетрадку обратно со словами: Гоголь сказалъ: «это несомнѣнное дарованіе». Поселившись въ семьѣ Григорьевыхъ, Ф. нашель въ сынѣ, будущемъ критикѣ, Аполлонѣ Григорьевѣ,

ревностнаго поклонника и собирателя своихъ стихотвореній. Дружескому сближенію молодыхъ людей не мало способствовала общая обоимъ страсть къ искусству во всѣхъ его проявленіяхъ. На товарищескую бесѣду къ Фету и Аполлону Григорьеву собирались лучшіе представители тогдашняго студенчества: С. М. Соловьевъ, Я. П. Полонскій, К. Д. Кавелинъ, кн. В. А. Черкасскій и др. Одобренный похвалами товарищей, молодой поэтъ рѣшилъ издать сборникъ своихъ стихотвореній. Эта мысль была исполнена въ 1840 году, когда появилась книжка «Лирической пантеонъ», вызвавшая сочувственный отзывъ «Отечественныхъ Записокъ». Изучая въ университетѣ произведенія мировыхъ поэтовъ, Ф. особенно увлекался Гёте, при чемъ на третьемъ курсѣ перевелъ первую пѣснь «Германа и Доротен», и Гейне, отъ котораго усвоилъ его своеобразные художественные приемы — говорить не о вліяніи одного предмета на другой, а только объ этихъ предметахъ, заставляя самого читателя чувствовать ихъ соотношенія въ общей картинѣ. «Мои стихотворенія, — рассказываетъ поэтъ въ книгѣ «Ранніе годы моей жизни», — стали ходить по рукамъ. Не могу въ настоящую минуту припомнить, какимъ образомъ я въ первый разъ вошелъ въ гостиную профессора исторіи словесности Шевырева. Онъ отнесся съ великимъ участіемъ къ моимъ стихотворнымъ трудамъ и снисходительно проводилъ за чаемъ по часу и по два въ литературныхъ со мною бесѣдахъ. Эти бесѣды меня занимали, оживляли и вдохновляли. Я чувствовалъ, что добрый Степанъ Петровичъ относился къ моей сыновней привязанности съ истинно отеческимъ расположеніемъ. Онъ старался дать ходъ моимъ стихотвореніямъ и съ этою цѣлью, какъ соиздатель «Москвитянина», рекомендовалъ Погодину написанный мною рядъ стихотвореній подъ названіемъ «Снѣга». Всѣ размѣщенія стихотвореній по отдѣламъ съ отличительными прозваніями производились трудами Григорьева. Рядъ стихотвореній, подъ заглавіемъ «Снѣга», напечатанъ въ первой книжкѣ Погодинскаго журнала за 1842 г., въ третьей книжкѣ появились «Гаданія», а въ 5-й «Отечеств. Записокъ» за тотъ же годъ помѣщены 11 стихотвореній, подъ общимъ заглавіемъ «Вечера и Ночи»; въ томъ же журналѣ, въ 12-ой книжкѣ, напечатанъ переводъ «Посейдона» Гейне, подъ которымъ впервые выставлена полная фамилія автора. Затѣмъ стихотворенія Фета замѣчаль не одинъ Шевыревъ: на одной изъ лекцій профессоръ римской словесности Д. Л. Крюковъ прочелъ въ присутствіи тогдашняго попечителя московскаго учебнаго округа, графа С. Г. Строганова, Фетовскій переводъ четырнадцатой оды Горация «Къ республикѣ». Сочувственно относился къ литературной дѣятельности Фета и М. П. Погодинъ, подарившій ему билетъ на полученіе журнала «Москвитянинъ» съ оригинальной надписью на оборотѣ: «Талантливому сотруднику отъ журналиста; а студентъ, берегись! пощады не будетъ, развѣ взысканіе сугубое по мѣрѣ талантовъ полученныхъ». Въ 1844 г. Ф. окончилъ университетскій курсъ дѣйствительнымъ студентомъ, пробывъ въ немъ

шесть лѣтъ (по два года на второмъ и третьемъ курсахъ). Литературные успѣхи, повидимому, мѣшали научнымъ занятіямъ; кромѣ того, «вслѣдствіе положительной своей безпамятности», Ф. чувствовалъ природное отвращеніе къ предметамъ, не имѣющимъ логической связи; къ числу такихъ предметовъ онъ относилъ, напр., исторію, говоря, что «эпохи, событія и дѣйствующія лица представляли для него мѣшокъ живыхъ раковъ, которые и по тщательному подбору и ранжиру ихъ немедля приходили въ прежнее хаотическое состояніе». По давнему своему стремленію къ военной службѣ, Ф. 21 апрѣля 1845 г. поступилъ унтеръ-офицеромъ въ кирасирскій Военнаго ордена полкъ (штабъ его находился въ Новогеоргіевскѣ, Херсонской губ., Александрійскаго уѣзда, при рѣкѣ Тясминѣ, притокѣ Днѣпра), въ которомъ 14 августа 1846 г. произведенъ въ корнеты, а 6 декабря 1851 г. въ штабсъ-ротмистры. Прикомандированный затѣмъ (въ 1853 г.) л. гв. къ уланскому Его Величества полку, Ф. переведенъ въ этотъ полкъ чиномъ поручика. Во время Крымской войны онъ находился въ составѣ войскъ, охранявшихъ эстляндское побережье, а съ 23 іюня 1856 по 27 января 1858 г. находился въ отпуску, послѣ чего вышелъ въ отставку штабсъ-ротмистромъ гвардіи. Въ заключительныхъ строкахъ книги «Ранніе годы моей жизни», Ф. говоритъ: «Никакая школа жизни не можетъ сравниться съ военною службой, требующею одновременно строжайшей дисциплины, величайшей гибкости и твердости хорошаго стального клинка въ сношеніяхъ съ равными и привычки къ мгновенному достиженію цѣли кратчайшимъ путемъ. Когда я сличаю свою нравственную распушенность и лѣнь на школьной и университетской скамьяхъ съ принужденнымъ самонаблюденіемъ и выдержкой во время трудной адъютантской службы, то долженъ сказать, что кирасирскій Военнаго ордена полкъ былъ для меня возбудительною школою». Дѣйствительно, время военной службы Фета было яркою эпохою жизни, расцвѣтомъ его поэтической дѣятельности, апогеемъ его популярности. Даровитый поэтъ познакомился (послѣ перехода въ гвардію) съ кружкомъ «Современника» — Некрасовымъ, Панаевымъ, Дружининымъ, Анненковымъ, Гончаровымъ и др., возобновилъ знакомство съ И. С. Тургеневымъ и В. П. Боткинымъ; у Тургенева встрѣтился и познакомился съ графомъ Л. Н. Толстымъ, только что начавшимъ тогда свою литературную дѣятельность. Кружокъ этотъ высоко цѣнилъ Фета, его непосредственное лирическое дарованіе, его эстетическій вкусъ и задумалъ издать новое собраніе его стихотвореній, такъ какъ появившееся въ 1850 г. было неполно и частью заключало вещи слабыя, неотдѣланныя. Подъ предсѣдательствомъ Тургенева кружокъ рѣшилъ общими силами сдѣлать тщательный выборъ, произвести съ согласія автора исправленіе отдѣльныхъ стиховъ и выраженій и красиво отпечатать. Сообщая Фету о желаніи кружка приступить къ этому изданію, Тургеневъ, между прочимъ, писалъ ему: «что вы мнѣ пишете о Гейне? Вы выше Гейне, потому что шире и свободнѣе его». Конечно, этотъ

дружескій отзывъ страдаетъ преувеличеніемъ, но въ немъ есть и доля правды: не говоря о размѣрахъ, талантъ Фета, несомнѣнно, былъ свободнѣе Гейневскаго, свѣжѣе; радостное чувство красоты сказывалось въ немъ полнѣе и независимѣе. Что касается Фетовской «широты», то въ ея оцѣнкѣ Тургеневъ былъ очень субъективенъ и значительно погрѣшилъ противъ истины. Гораздо безпристрастнѣе отнесся къ Фету тонкій цѣнитель изящнаго В. П. Боткинъ. По выходѣ въ свѣтъ редактированныхъ кружкомъ «Стихотвореній А. А. Фета» (С.-Пб 1856), онъ помѣстилъ въ «Современникѣ» (1857, т. 61) обширную рецензію, представляющую лучшей и наиболѣе полный эстетическій комментарий къ произведеніямъ даровитаго лирика. Считая единственною задачею искусства красоту, Ф. замкнулся въ довольно узкую сферу личныхъ ощущеній, которыя такъ хорошо передаются музыкою и такъ трудно выражаются словомъ; въ этой сферѣ онъ являлся неподражаемымъ и единственнымъ мастеромъ въ русской литературѣ. Ничто изъ современнаго не находило въ немъ отзыва, онъ не умѣлъ всесторонне рисовать жизнь во всемъ ея объемѣ. Поэзія его носитъ характеръ интимный, младенчески простодушный. Излюбленными мотивами Фета, въ разработкѣ которыхъ онъ достигъ совершенства, были любовь и природа. Онъ обладалъ удивительной чуткостью къ едва уловимымъ красотамъ природы; въ явленіяхъ, совершенно обыденныхъ, будничныхъ, онъ умѣлъ открывать неподозрѣнную красоту. Его зимнія, весеннія, лѣтнія и осеннія картинки нашей сѣверной природы принадлежатъ къ лучшему, что создано въ этомъ родѣ русскими поэтами. По вѣрному заключенію Боткина, Ф. уловлялъ не пластическую реальность предмета, а идеальное, мелодическое отраженіе его въ нашемъ чувствѣ, — то свѣтлое воздушное отраженіе, въ которомъ чуднымъ образомъ сливаются форма, сущность, колоритъ и ароматъ его. Большая часть поэтическихъ мелодій Фета внушена ему вечеромъ или ночью; также превосходно удавались поэту изображенія томительно-сладкихъ весеннихъ ощущеній. Въ изображеніи любви Ф. былъ такъ же своеобразенъ, какъ и въ изображеніи природы. Онъ схватывалъ, главнымъ образомъ, сладко томящія и ласкающія душу настроенія съ чувствительнымъ оттѣнкомъ, — настроенія, напоминающія древнихъ поэтовъ: то же пристрастіе къ красотѣ формъ, внѣшнему изяществу и граціи, то же отсутствіе въ этой сладострастной атмосферѣ нравственнаго начала, могущаго смутить инстинктивное стремленіе къ наслажденіямъ и младенческую наивность возрѣній. Поэтому антологическія стихотворенія Фета смѣло могутъ соперничать съ античными по характеру и совершенству исполненія. Общее заключеніе Боткина о поэзіи Фета таково, что для правильнаго пониманія она требуетъ «глубокаго чувства природы, требуетъ фантазіи, легко отдѣляющейся отъ практической дѣйствительности». «Въ минуты романтическаго расположенія духа, когда ничто житейское не тревожитъ васъ», — говоритъ критикъ, — «когда глаза ваши съ какимъ-то задушевнымъ

стремленіемъ вглядываются въ голубой блескъ неба, въ нѣмые зеленые переливы луга и лѣса, въ прозрачные задумчивые тоны и вечера, и груди становится тѣсно отъ безчисленныхъ неопредѣленныхъ стремленій, поднимающихся со дна души вашей, — въ такія минуты раскройте книжку Фета и вы поймете ея поэзію. — Непрерывно печатая въ 50-хъ годахъ свои оригинальныя стихотворенія въ «Современникѣ» и «Отеч. Запискахъ», Ф. въ эгихъ же журналахъ, а также въ «Библиотекѣ для чтенія» и «Русскомъ Словѣ» помѣстилъ нѣсколько довольно значительныхъ переводныхъ трудовъ, каковы: переводъ Гётевской поэмы «Германъ и Доротея» («Современникъ» 1856, № 7), полный стихотворный переводъ «Оды Квинта Горация Флакка», въ четырехъ книгахъ («Отеч. Зап.» 1856 г., №№ 1, 35 и 7), которая затѣмъ, въ томъ же году, появились отдѣльнымъ изданіемъ, стихотворные переводы трагедій Шекспира «Юлій Цезарь» (Библ. для чт.» 1859, № 3) и «Антоній и Клеопатра» («Рус. Слово» 1859, № 2). Къ пятидесятымъ годамъ относятся и два беллетристическихкія опыта Фета — рассказъ «Каленникъ» («Отеч. Зап.» 1854, № 3) и повѣсть «Дядюшка и двоюродный братецъ» (ibid. 1855, № 9); ни рассказъ ни повѣсть ничего не прибавили къ извѣстности даровитаго поэта: лирикъ по призванію, онъ, «положа руку на сердце, самъ сознавался, что въ немъ нѣтъ «ни драматической ни эпической жилки».

Взявъ передъ выходомъ въ отставку изъ военной службы отпускъ на 11 мѣсяцевъ, Ф. совершилъ поѣздку за границу, побывавъ въ Карлсбадѣ, Парижѣ и нѣкоторыхъ итальянскихъ городахъ. Путевыя впечатлѣнія поэтъ рассказалъ въ трехъ письмахъ «Изъ-за границы», напечатанныхъ въ «Современникѣ» (1856, № 11 и 1857 №№ 2 и 7). Въ Парижѣ 16 августа 1856 г. Ф. женился на М. П. Боткиной, сестрѣ своего давнишняго друга и почитателя. Послѣ трехъ лѣтъ, проведенныхъ зимою въ Москвѣ, а лѣтомъ въ Новоселкахъ, Ф. рѣшился серьезно заняться сельскимъ хозяйствомъ и съ этою цѣлью купилъ (въ 1860 г.) въ Мценскомъ уѣздѣ хуторъ съ 200 десятинами земли («Степановка»). Здѣсь опъ прожилъ 17 лѣтъ, лишь зимою ненадолго наѣзжая въ Москву, и создалъ прекрасное имѣніе: отдѣлалъ купленный неоконченный домъ и расширилъ его пристройками, развелъ цвѣтники, насадилъ аллеи, выкопалъ пруды и колодцы, усердно велъ хлѣбопашество. Въ теченіе 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> лѣтъ (1867—1877) поэтъ служилъ мировымъ судьей. «О моихъ первыхъ попыткахъ на попрощѣ вольнонаемнаго труда, — рассказываетъ Ф. въ своихъ воспоминаніяхъ, — я писалъ своевременно въ «Русскимъ Вѣстникѣ», подъ заглавіемъ «Изъ деревни», и возбудилъ этими фотографическими снимками съ дѣйствительности злобные на меня нападки тогдашнихъ журналовъ, старавшихся обличать все, начиная съ неисправныхъ дождевыхъ трубъ на столичныхъ тротуарахъ, но считавшихъ и считающихъ понынѣ всякую сельскую неурядицу прекрасною и неприкосновенною». На самомъ дѣлѣ, очерки «Изъ деревни» послужили только поводомъ къ злобнымъ нападкамъ журналовъ, замѣ-

тившихъ, что Ф. принадлежитъ къ числу противниковъ общественнаго движенія и отказывается своею поэзіею служить прогрессивнымъ стремленіямъ времени. «Искра» и другіе юмористическіе листки 60-хъ годовъ стали вышучивать публицистическія писанія поэта и пародировать его произведенія; критика стала смѣяться надъ безыдейностью и бѣдностью мотивовъ его стихотвореній — и по своему была права: въ Фетѣ, дѣйствительно, не было никакой отзывчивости на современность, а къ общественнымъ вопросамъ онъ относился почти всегда съ личной точки зрѣнія и въ произведеніяхъ художества видѣлъ, по выраженію Тургенева, «только бессознательный лепетъ спящаго». Фетъ былъ глубоко оскорбленъ отношеніемъ къ нему критики. Выпустивъ въ свѣтъ въ 1863 году въ 2 частяхъ свои «Стихотворенія» (изд. К. Т. Солдатенкова), расходившіяся довольно медленно, онъ почти совсѣмъ пересталъ писать стихи и вернулся къ поэтической дѣятельности только на закатѣ дней своихъ. Возвращеніе Фета къ литературѣ совершилось въ его новомъ имѣніи, Воробьевкѣ, Щигровскаго уѣзда, Курской губ., въ десяти верстахъ отъ Коренной пустыни, купленномъ въ 1877 г. Новое хозяйство на 850 десятинахъ велось управляющимъ, а самъ владѣлецъ, кромѣ писанія стихотвореній, внушенныхъ минутами вдохновенія и выходившихъ отдѣльными выпусками подъ заглавіемъ «Вечерніе огни» (1883, 1885, 1888 и 1891), усердно принялся за переводы. Такъ онъ перевелъ: обѣ части «Фауста» (1882—83), хотя и не особенно удачно; два сочиненія Шопенгауера — «Миръ, какъ воля и представленіе» (1880, 2-е изд. въ 1888 г.) и «О четвероякомъ корнѣ закона достаточнаго основанія» (1886) и цѣлый рядъ латинскихъ поэтовъ, съ объясненіями и примѣчаніями, не всегда, однако, вѣрными и точными, на что неоднократно указывала ученая критика. Серію переводовъ съ латинскаго Фетъ началъ Гораціемъ, всѣ произведенія котораго въ Фетовскомъ переводѣ вышли въ 1883 г. Затѣмъ послѣдовательно были переведены: сатиры Ювенала (1885), стихотворенія Катуллы (1886), элегіи Тибуллы (1886), XV книгъ «Превращеній Овидія» (1887), вся «Энеида» Виргилія (1888), элегіи Проперція (1888), сатиры Персія (1889) и эпиграммы Марціала (1891). Исполнивъ этотъ громадный трудъ, Фетъ оказалъ русской литературѣ неоцѣнимую услугу: до него удовлетворительныхъ стихотворныхъ и тѣмъ болѣе полныхъ переводовъ этихъ авторовъ, у насъ не было. Въ 1884 г. Фетовскій переводъ всего Горація былъ удостоенъ Императорскою академіею наукъ полной Пушкинской преміи. Ученый рецензентъ, профессоръ П. В. Помяловскій, отмѣтилъ у переводчика такое же разнообразіе метровъ и такое же оригинальное сочетаніе стопъ, какъ и въ подлинникѣ; въ числѣ достоинствъ перевода, кромѣ того, названы: рѣдкая полнота и благозвучность рѣчь, а также гладкость, естественность и удобопонятность рѣчи. Стихи неуклюжіе, темные и невѣрные во всѣхъ переводахъ Фета встрѣчались потому, что онъ неизмѣнно слѣдовалъ правилу сохранять въ своихъ работахъ число строкъ

оригинала. Въ послѣдніе годы жизни, послѣ 50-лѣтняго юбилея своей литературной дѣятельности, торжественно отпразднованнаго въ Москвѣ и ознаменованнаго пожалованіемъ юбиляру званія камергера, Фетъ задумалъ написать свои воспоминанія, которыя составили двѣ большія книги: «Мои воспоминанія», въ 2-хъ томахъ (1890) и «Ранніе годы моей жизни» (посмертное изданіе въ 1893 г.) Вторая книга имѣетъ почти исключительное автобіографическое значеніе; первая особенно интересна по множеству помѣщенныхъ въ ней писемъ И. С. Тургенева, гр. Л. Н. Толстого и В. П. Боткина. Въ своихъ воспоминаніяхъ Фетъ не говоритъ о сближеніи и перепискѣ съ великимъ княземъ Константиномъ Константиновичемъ. Ревностный почитатель таланта Фета, великій князь принималъ участіе въ изданіи его «Лирическихъ стихотвореній», появившихся въ 2 частяхъ, въ 1894 году. Сотрудникомъ Августѣйшаго поэта былъ близко знавшій даровитаго лирика Н. Н. Страховъ, написавшій къ первому тому предисловіе, въ которомъ, между прочимъ, сдѣлалъ слѣдующую характеристику Фета, какъ человѣка: «Душевные качества Аѳ. Аѳ. представляли очень замѣтное и прекрасное разнообразіе. Онъ обладалъ энергіей и рѣшительностью, ставилъ себѣ ясныя цѣли и неуклонно къ нимъ стремился. Ему всегда нужна была дѣятельность; онъ не любилъ безцѣльныхъ прогулокъ, не любилъ оставаться одинъ; когда же имѣлъ собесѣдниковъ, былъ неистощимъ въ рѣчахъ, исполненныхъ блеска и парадоксовъ. Переписка съ друзьями и знакомыми составляла для него наслажденіе. Близко знавшіе его, конечно, согласятся съ В. П. Боткинымъ, который приписываетъ ему «чистое, доброе, наивное сердце».

*Трубачевъ.*

### Некрологъ Фета.

21-го ноября 1892 года, въ Москвѣ, скончался на 72 году жизни, извѣстный даровитый поэтъ Аѳанасій Аѳанасьевичъ Фетъ-Шеншинъ. Смерть застала маститаго писателя за подготовленіемъ изданія новаго полного собранія его стихотвореній и новаго тома его воспоминаній. Имя Фета знакомо каждому образованному русскому и такъ же всѣмъ дорого, какъ имена Майкова, Тютчева, Полонскаго и другихъ нашихъ лучшихъ представителей той школы чистаго искусства, которая образовалась въ сороковыхъ и пятидесятихъ годахъ и воспиталась на безсмертныхъ образцахъ пушкинской и лермонтовской поэзіи. Исключительно лирикъ по складу своего оригинальнаго и симпатичнаго таланта, А. А. обогатилъ сокровищницу русской поэзіи множествомъ превосходныхъ лирическихъ произведеній, удивляющихъ изящною простотою выраженія и задушевностью чувства, блескомъ и красотою образовъ и полнозвучностью рими, рѣдкаго по своему мастерству и отдѣлкѣ плѣнительнаго стиха. Сфера таланта Фета была невелика, но въ ней онъ являлся неподражаемымъ и един-

ственнымъ представителемъ не только въ русской, но и въ европейской литературѣ. А. А. былъ, по преимуществу, поэтомъ мимолетныхъ, едва уловимыхъ ощущенийъ, проходящихъ по душѣ, словно тѣнь облачка въ лѣтній день надъ волнующеюся нивой — ощущеній, которыя такъ прекрасно выражаются музыкою и такъ трудно передаются словомъ. Силою своею своеобразнаго дарованія Фетъ постигалъ не только эти тонкія и едва замѣтныя ощущенія, но и умѣлъ облекать въ художественное слово, поразительное по своей мѣткости, различные моменты этихъ ощущенийъ. Природа являлась для Фета «живымъ алтаремъ мірозданія», надъ которымъ «звѣзды трепещутъ золотыми рѣсницами», къ которому весна является, «какъ женихъ», гдѣ поле «спитъ подъ дыханьемъ лѣтняго вѣтра», на зарѣ «крылатые звуки толпятся, какъ мошки», а цвѣты «лѣзутъ своимъ ароматомъ къ лицу, какъ поцѣлуемъ». Любя природу ничѣмъ не охлаждаемою любовью, Фетъ умѣлъ находить извѣстное средство въ ней съ жизнью человѣка, и поэтическія параллели даровитаго поэта въ этомъ отношеніи, пожалуй, единственныя въ своемъ родѣ. Почти до самыхъ послѣднихъ дней А. А. сохранилъ неувядаемую свѣжесть чувства и живость воображенія и, время отъ времени, не переставалъ дарить перлами своего творчества: еще недавно <sup>1)</sup> появился третій выпускъ «Вечернихъ огней», въ которомъ помѣщены лирическія стихотворенія послѣднихъ лѣтъ.

Замѣчательный лирикъ, А. А. былъ также и выдающимся переводчикомъ, обогатившимъ русскую литературу цѣлымъ рядомъ произведеній древнеклассическихъ поэтовъ: Горація, Тибулла, Катуллы, Овидія, Вергилія, Проперція, Марціала, Персія и Плавта. Среди переводовъ особенно значительнымъ является переводъ въ стихахъ произведеній Горація, удостоенный въ 1884 году Императорскою Академіею Наукъ полной Пушкинской премии. Переводы Фета съ латинскаго, точно передавая содержаніе подлинника, удерживали его размѣръ, не теряя отъ этого въ звучности и красотѣ стиха. Нельзя не упомянуть также о переведенныхъ А. А. обѣихъ частяхъ трагедіи Гете «Фаустъ» и сочиненія Шопенгауера «Міръ», какъ воля и представленіе»...

Литературная дѣятельность А. А. началась очень рано: не имѣя еще девятнадцати лѣтъ, поэтъ выпустилъ въ свѣтъ въ 1829 году небольшой сборникъ своихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ: «Лирическій Пантеонъ», сочувственно встрѣченный критикою. Дальнѣйшіе стихотворные опыты А. А. стали появляться только съ 1842 года въ «Москвитянинѣ» и «Отеч. Запискахъ». Въ началѣ 1850 года въ Москвѣ появилось новое изданіе «Стихотвореній А. Фета», также вызвавшее одобрительные отзывы тогдашней критики. Въ пятидесятихъ годахъ оригинальныя и переводныя произведенія А. А. про-

<sup>1)</sup> Статья написана въ 1892 г.

должали печататься въ «Современникѣ», «Отеч. запискахъ», «Русскомъ Вѣстникѣ», «Библиотекѣ для чтенія». Среди переводныхъ трудовъ этого времени необходимо отмѣтить: переводы: поэмы Гёте—«Германъ и Доротея», одъ Горація и драмъ Шекспира: «Антоній и Клеопатра» и «Юлій Цезарь». Переводъ одъ Горація выпущенъ отдѣльнымъ изданіемъ въ 1856 году, когда вышелъ также третій сборникъ «Стихотвореній А. Фета» въ изданіи И. С. Тургенева. 1863 годъ ознаменовался для даровитаго поэта появленіемъ собранія его стихотвореній въ двухъ частяхъ, изданнаго К. Т. Солдатенковымъ. Наконецъ, въ 1883—1887 годахъ послѣдовательно вышли въ свѣтъ три выпуска «Вечернихъ огней», а съ 1880 года до послѣдняго времени не переставали появляться стихотворные и прозаическіе переводы талантливаго писателя.

Перерывъ въ литературной дѣятельности А. А., продолжавшійся почти семнадцать лѣтъ (1860—1877), былъ вызванъ глубоко вреднымъ характеромъ извѣстной части русской критики шестидесятыхъ годовъ, которая совершенно отрицала значеніе искусства, развѣнчивала Пушкина и одобряла только произведенія тенденціозныя. Это продолжительное молчаніе А. А. лишило, конечно, русскую литературу многихъ высокохудожественныхъ произведеній. Но люди, любившіе и любящіе искусство, понимающіе его огромное воспитательное значеніе, никогда не переставали цѣнить и почитать дѣятельность даровитаго лирика. Еще въ 1859 году А. А. былъ избранъ дѣйствительнымъ членомъ общества любителей россійской словесности при Московскомъ университетѣ, а въ 1886 году Императорская Академія Наукъ избрала маститаго писателя своимъ членомъ-корреспондентомъ. Торжественно отпразднованъ былъ въ 1889 году пятидесятилѣтній юбилей нынѣ усопшаго поэта... Все русское образованное общество, давно соединяя съ фамиліей «Фетъ» вереницу прекрасныхъ произведеній и классическихъ переводовъ, съ рѣдкимъ сочувствіемъ откликнулось на знаменательный для талантливаго писателя день.

*Изъ „Правительственнаго Вѣстника“, 1892 г., № 256.*

### **Особенности лирической поэзіи.**

Лирическая поэзія послѣ музыки представляетъ самое прямое откровеніе человѣческой души. Но изъ этого не слѣдуетъ выводить, по ходячей гегельянской схемѣ, что лирика есть «поэзія субъективности». Это такое опредѣленіе, отъ котораго, по выраженію Я. П. Полонскаго, «ничего не жди хорошаго». У всякаго, вѣдь, есть своя «субъективность», и, убѣдившись, что въ ней-то все и дѣло, любой субъектъ, мало-мальски способный къ версификаціи, можетъ безъ стыда и жалости изливать свою душевную пустоту въ обильномъ потокѣ стихотвореній, возбуждая въ себѣ самомъ духъ праздности и тщеславія, а на ближнихъ своихъ наводя духъ унынія. Но, по-

мимо этих грѣховныхъ послѣдствій упомянутого опредѣленія, оно несостоятельно и въ теоретическомъ смыслѣ. Ясно, во-первыхъ, что субъективныя состоянія, *какъ таковыя*, вообще не допускаютъ поэтическаго выраженія; чтобы можно было облечь ихъ въ опредѣленную форму, нужно, чтобы они стали *предметомъ* мысли и, слѣдовательно, перестали быть *только* субъективными. Предметомъ поэтическаго изображенія могутъ быть не переживаемыя въ данный моментъ душевныя состоянія, а пережитыя и представляемыя. Но и въ этомъ смыслѣ далеко не всѣ состоянія души могутъ быть предметомъ лирической поэзіи. Вообразимъ себѣ поэта, который въ то же время страстный игрокъ въ карты. Если бы пережитыя имъ въ этомъ случаѣ аффекты онъ вздумалъ изобразить въ стихахъ, то вышла бы шулка или сатира, но не настоящая лирика. Вообще вся та житейская суета, которая, большею частью, наполняетъ душу людей и составляетъ субъективную подкладку ихъ жизни, никогда не становится содержаниемъ лирической поэзіи. Чтобы воспроизвести свои душевныя состоянія въ стихотвореніи, поэтъ долженъ не просто пережить ихъ, а пережить ихъ именно въ качествѣ лирическаго поэта. А если такъ, то ему вовсе не нужно ограничиваться случайностями своей личной жизни, онъ не обязанъ воспроизводить непременно свою субъективность, свое настроеніе, когда онъ можетъ усвоить себѣ и чужое, войти, такъ сказать, въ чужую душу. Развѣ свою субъективность изображаетъ, напримѣръ, Пушкинъ въ великолѣпномъ стихотвореніи:

Стамбуль гяуры нынче славятъ,  
А завтра кованой пятой,  
Какъ змѣя спящаго, раздавятъ  
И прочь пойдутъ, и такъ оставятъ,—  
Стамбуль заснулъ передъ бѣдой... и т. д.

И не только Пушкину, но и такому чистому лирику, какъ Фетъ, нерѣдко удавалось прекрасно воспроизводить чужую и во всѣхъ отношеніяхъ отъ него далекую субъективность, напримѣръ, любовь арабской дѣвушки тысячу лѣтъ тому назадъ:

Я люблю его жарко: онъ тигромъ въ бою  
Нападаетъ на хищныхъ враговъ!  
Я люблю въ немъ отраду, награду мою  
И потомка великихъ отцовъ.  
Кто бы ни былъ ты, странникъ простой или купецъ,  
Ни овцы ни верблюда не тронь,  
Отъ кобыль Мугамета его жеребецъ,  
Что небесный огонь этотъ конь!  
Только мирный пришлецъ нагибайся въ шатеръ  
И одежду дорожную скинь.  
На услугу и ласку онъ ловокъ и скоръ:  
Онъ бадья при колодцахъ пустынь.  
Будто мѣсяцъ надъ кедромъ, бѣлѣетъ чалма  
У него средь широкихъ степей.  
Я люблю, и никто — ни Фатима сама  
Не любила Пророка сильнѣй.

Очевидно, настроеніе, въ которомъ написана эта пьеса, ничуть не болѣе субъективно, чѣмъ то, въ которомъ живописецъ пишетъ свою картину или драматургъ создаетъ монологи своихъ дѣйствующихъ лицъ.

Если, такимъ образомъ, съ одной стороны, не всѣ субъективныя состоянія и настроенія поэта могутъ стать содержаніемъ лирики, а съ другой стороны, такимъ содержаніемъ могутъ быть состоянія и настроенія, ничего общаго съ личною душевною жизнью поэта не имѣющія, то ясно, что сущность дѣла тутъ не въ субъективности. Какъ мы сказали, лирика есть подлинное откровеніе души человѣческой; но случайное поверхностное содержаніе той или другой человѣческой души и безъ того явно во всей своей непривлекательности и нуждается не столько въ откровеніи и увѣковѣченіи, сколько въ сокровеніи и забвеніи. Въ поэтическомъ откровеніи нуждаются не болѣзненные наросты и не пыль и грязь житейская, а лишь внутренняя красота души человѣческой, состоящая въ ея созвучіи съ объективнымъ смысломъ вселенной, въ ея способности индивидуально воспринимать и воплощать этотъ всеобщій существенный смыслъ міра и жизни. Въ этомъ отношеніи лирическая поэзія нисколько не отличается отъ другихъ искусствъ; и ея предметъ есть существенная красота міровыхъ явленій, для воспріятія и воплощенія которой нуженъ особый подъемъ души надъ обыкновенными ея состояніями. Способность къ такому подъему, какъ и всякое индивидуальное явленіе, имѣетъ свои матеріальныя фізіологическія условія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и свою самостоятельную идеально-духовную причину, и съ этой стороны такая способность справедливо называется дарованіемъ, гениемъ, а актуальное проявленіе ея—вдохновеніемъ. Ограничусь этимъ общимъ намекомъ, такъ какъ метафизическое объясненіе художественнаго творчества не входитъ въ мою теперешнюю задачу.

Обращаясь къ особенностямъ лирики въ отличіе ея отъ другихъ искусствъ и въ частности отъ другихъ родовъ поэзіи, я могу по совѣсти дать только относительное и отчасти метафорическое опредѣленіе. Лирика останавливается на болѣе простыхъ, единичныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе глубокихъ моментахъ созвучія художественной души съ истиннымъ смысломъ міровыхъ и жизненныхъ явленій; въ настоящей лирикѣ болѣе чѣмъ гдѣ-либо (кромѣ музыки) душа художника сливается съ даннымъ предметомъ или явленіемъ въ одно нераздѣльное состояніе. Это есть признакъ лирической поэзіи, ея задушевность или по-нѣмецки *Innerlichkeit*. Но это лишь особенность лирическаго настроенія, доступнаго и простымъ смертнымъ, особенно такъ называемымъ «поэтамъ въ душѣ». Что же касается особенности лирическаго *произведенія*, то она состоитъ въ совершенной слитности содержанія и словеснаго выраженія. Въ истинно лирическомъ стихотвореніи нѣтъ вовсе содержанія отдѣльнаго отъ формы, чего нельзя сказать о другихъ родахъ поэзіи. Стихотвореніе котораго содержа-

ніе можетъ быть толково и связно разсказано своими словами въ прозѣ, или не принадлежитъ къ чистой лирикѣ, или никуда не годится<sup>1)</sup>). Наконецъ, третья существенная особенность лирической поэзіи состоитъ въ томъ, что она относится къ основной постоянной сторонѣ явленій, чуждаясь всего, что связано съ процессомъ, съ исторіей. Предваряя полное созвучіе внутренняго со внѣшнимъ, предвкушая въ минуты вдохновенія всю силу и полноту истинной жизни, лирический поэтъ равнодушенъ къ тому историческому труду, который стремится превратить этотъ нектаръ и амброзію въ общее достояніе. Хотя многіе поэты отъ Тиртея и до Некрасова вдохновлялись патриотическими и цивилическими мотивами, но никто изъ понимающихъ дѣло не смѣшиваетъ этой *прикладной* лирики съ лирикой чистою. Чтобъ ясно почувствовать, что между тою и другою нѣтъ ничего общаго, кромѣ стихотворной рѣчи, достаточно сравнить, напримеръ, впечатлѣніе отъ пушкинской оды

О чемъ шумите вы, народныя вити?  
Зачѣмъ анаемой грозите вы Россіи и т. д.

съ впечатлѣніемъ отъ его же

Роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ,  
Сребритъ морозъ уянувшее поле...

или хотя бы некрасовское:

О, владѣльцы домовъ, окаянныя,  
Какъ страдаетъ отъ васъ бѣдный людъ!<sup>2)</sup>

съ его же «последнею пѣснью»:

Жду тебя, мою желанную, Улетимъ съ тобою вновь Въ ту страну обѣтованную, Гдѣ вѣнчала насъ любовь.	Розы тамъ цвѣтутъ душистѣе, Тамъ лазурный небеса, Соловьи тамъ голосистѣе, Густолиственный лѣса.
--	---

Для чистаго лирика вся исторія человѣчества есть только случайность, рядъ анекдотовъ; а патриотическія и гражданскія задачи онъ считаетъ столь же чуждыми поэзіи, какъ и суету будничной жизни. «Конечно, никто не предположить», такъ пишетъ одинъ изъ этихъ чистыхъ лириковъ, «чтобы, въ отличіе отъ всѣхъ людей, мы одни не чувствовали, съ одной стороны, неизбежной тягости будничной жизни, а съ другой — тѣхъ періодическихъ вѣяній, нелѣпостей, которыя, дѣйствительно, способны исполнить всякаго практическаго дѣятеля гражданскою скорбью. Но эта скорбь никакъ не могла

<sup>1)</sup> Поэтому для хорошаго перевода лирическаго стихотворенія необходимо, чтобы переводчикъ возбудилъ въ себѣ то же лирическое настроеніе, изъ котораго вышло подлинное стихотвореніе, и затѣмъ нашелъ соотвѣтствующее этому настроенію выраженіе на своемъ языкѣ. Для лирическаго перевода вдохновеніе нужнѣе, чѣмъ для всякаго другого.

<sup>2)</sup> Эти типично-некрасовскіе стихи принадлежатъ г. Буренину.

вдохновить насъ. Напротивъ, эти-то жизненные тяготы и заставляли насъ въ теченіе пятидесяти лѣтъ по временамъ отворачиваться отъ нихъ и пробивать будничныи ледъ, чтобы хотя на мгновеніе вздохнуть чистымъ и свободнымъ воздухомъ поэзіи<sup>1)</sup>). Переходя къ своимъ порпцателямъ, нашъ поэтъ продолжаетъ: «Такъ какъ въ сущности люди эти ничего не понимали въ дѣлѣ поэзіи, то останавливались только на одной видимой сторонѣ дѣла: именно на его непосредственной бесполезности. Понятно, до какой степени имъ казались наши стихи не только пустыми, но и возмутительными своею невозмутимостью и прискорбнымъ отсутствіемъ гражданской скорби. Но, справедливый читатель, вникните же и въ наше положеніе. Мы, если припомниме, постоянно искали въ поэзіи единственнаго убѣжища отъ всяческихъ житейскихъ скорбей, въ томъ числѣ и гражданскихъ. Откуда же могли мы взять этой скорби тамъ, куда мы старались отъ нея уйти? Не все ли это равно, что обратиться къ человѣку, вынырнувшему изъ глубины рѣки, куда онъ бросился, чтобы потушить, загорѣвшееся на немъ платье, съ требованіемъ: «давай огня!»<sup>2)</sup>).

Находя это признаніе совершенно правдивымъ, мы не станемъ, конечно, укорять поэта въ эгоизмъ и его дѣло въ бесполезности. Если отъ жизненной тревоги онъ уходитъ въ міръ вдохновеннаго созерцанія, то, вѣдь, онъ возвращается не съ пустыми руками: то, что онъ оттуда приноситъ, позволяетъ и простымъ смертнымъ «вздохнуть на мгновеніе чистымъ и свободнымъ воздухомъ поэзіи». А едва ли можно сомнѣваться, что такое освѣженіе полезно и для самой жизненной борьбы. Не одна только трагедія служитъ къ очищенію (*καθάρσις*) души: быть можетъ, еще болѣе прямое и сильное дѣйствіе въ этомъ направленіи производитъ чистая лирика на всѣхъ, кто къ ней воспримчивъ.

Россія можетъ гордиться своими лирическими поэтами. Изъ умершихъ недавно первое мѣсто безспорно принадлежитъ Фету и Полонскому<sup>3)</sup>. «Вечерніе Огни» перваго и «Вечерній Звонъ» втораго еще проникнуты вѣчно юною силой вдохновенія: это все тотъ же Феть, тотъ же Полонскій. Мы воспользуемся обоими сборниками, чтобы уяснить сущность и содержаніе лирической поэзіи. Это содержаніе въ ней, какъ уже было замѣчено, неотдѣлимо отъ конкретной поэтической формы. Лирическое стихотвореніе не можетъ быть рассказано своими словами, а потому читатель пусть не посѣтуетъ на насъ за обильныя выписки.

Каковы бы ни были философскія и религіозныя воззрѣнія истиннаго поэта, но какъ поэтъ, онъ непремѣнно вѣритъ и внушаетъ

<sup>1)</sup> А. Феть. «Вечерніе Огни», выпускъ III, предисловіе. Стран. 3.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стран. 5.

<sup>3)</sup> Наиболѣе значительныя произведенія А. Н. Майкова не принадлежатъ къ чистой лирикѣ. Самъ поэтъ не безъ основанія вѣнцомъ своихъ твореній признаетъ историческую драму «Два Міра», въ которой, впрочемъ, есть превосходныя лирическія мѣста.

намъ вѣру въ объективную реальность и самостоятельное значеніе *красоты* въ мірѣ.

Кому вѣнецъ: богинѣ ль красоты,  
Иль въ зеркалѣ ея изображенью?  
Поэтъ смущенъ, когда дивисься ты  
Богатому его воображенью:  
*Не я, мой другъ, а Божій міръ богатъ,*  
Въ пылинкѣ онъ лепчетъ жизнь и множить,  
И, что одинъ твой выражаетъ взглядъ,  
Того поэтъ пересказать не можетъ<sup>1)</sup>.

Поэтъ вдохновляется не произвольными, преходящими и субъективными вымыслами, а черпаетъ свое вдохновение изъ той вѣковѣчной глубины бытія,

Гдѣ слово нѣмѣетъ, гдѣ царствуютъ звуки,  
Гдѣ слышишь не пѣсню, а душу пѣвца,  
Гдѣ духъ покидаетъ ненужное тѣло,  
Гдѣ внемлешь, что радость не знаетъ предѣла,  
Гдѣ вѣришь, что счастьемъ не будетъ конца<sup>2)</sup>.

Эта завѣтная глубина душевнаго міра такъ же реальна и такъ же всеобъемлюща, какъ и міръ внѣшній; поэтъ видитъ здѣсь «два равноправныя бытія».

И какъ въ росинкѣ чуть замѣтной      Такъ слитно въ глубинѣ завѣтной  
Весь солнца ликъ ты узнаешь,      Все мірозданье ты найдешь<sup>3)</sup>.

Внутренній духовный міръ еще болѣе реаленъ и безконечно болѣе значителенъ для поэта, чѣмъ міръ матеріальнаго бытія:

Не тѣмъ, Господь, могучъ, непостижимъ  
Ты предъ моимъ мятущимся сознаньемъ,  
Что въ звѣздный день Твой свѣтлый серафимъ  
Громадный шаръ зажегъ надъ мірозданьемъ.  
И мертвецу съ пылающимъ лицомъ  
Онъ повелѣлъ блюсти твои законы, —  
Все пробуждать живительнымъ лучомъ,  
Храня свой пылъ столѣтій миллионы.  
Нѣтъ, Ты могучъ и мнѣ непостижимъ  
Тѣмъ, что я самъ, безсильный и мгновенный,  
Ношу въ груди, какъ оный серафимъ,  
Огонь сильнѣй и ярче всей вселенной.  
Межъ тѣмъ какъ я — добыча суеты, —  
Игралище ея непостоянства, —  
Во мнѣ — онъ вѣченъ, вездѣсущъ, какъ Ты,  
Ни времени не знаетъ ни пространства<sup>4)</sup>.

При свѣтѣ этого «вездѣсущаго огня» поэзія поднимается до «высей творенія» и этимъ же истиннымъ свѣтомъ освѣщаетъ всѣ

1) Фетъ, «Вечерніе Огни», выпускъ I, стран. 78.

2) Фетъ, «Вечерніе Огни», выпускъ II, стран. 25.

3) Тамъ же, выпускъ II, стран. 6.

4) Тамъ же, выпускъ I, стран. 21

предметы, уловляет вѣковѣчную красоту всѣхъ явленій. Ея дѣло не въ томъ, чтобы предаваться произвольнымъ фантазіямъ, а въ томъ, чтобы провидѣть абсолютную правду всего существующаго. Нашъ поэтъ съ благоговѣніемъ обращается къ своимъ собратьямъ по высокому служенію:

Сердце трепещетъ отрадно и больно,  
Подняты очи и руки воздѣты:  
Здѣсь на колѣняхъ я снова неволью,  
Какъ и бывало, предъ вами, поэты.  
*Въ вашихъ чертогахъ мой духъ окрылился, —  
Правду провидитъ онъ съ высей творенья:*  
Этотъ листокъ, что иссохъ и свалился, —  
Золотомъ вѣчнымъ горитъ въ пѣнопѣни.  
Только у васъ мимолетныя грезы  
Старыми въ душу глядятся друзьяи,  
Только у васъ благовонныя розы  
Вѣчно восторга блистаютъ слезами.  
Съ торжищъ житейскихъ, безцвѣтныхъ и душевныхъ,  
Видѣтъ такъ радостно тонкія краски:  
Въ радугахъ вашихъ, прозрачно-воздушныхъ,  
Неба родного мнѣ чудятся ласки<sup>1)</sup>.

А вотъ другая вдохновенная характеристика поэтического вдохновенія:

Однимъ толчкомъ согнать ладью живую  
Съ наглаженныхъ отливами песковъ,  
Одной волной подняться въ жизнь иную.  
Учуять вѣтръ съ цвѣтушихъ береговъ,  
Тоскливый сонъ прервать единымъ звукомъ,  
Упитья вдругъ невѣдомымъ, роднымъ,  
Дать жизни вздохъ, дать сладость тайнымъ мукамъ,  
Чужое вмгъ почувствовать своимъ,  
Шепнуть о томъ, предъ чѣмъ языкъ нѣмѣтъ,  
Усилить бой безтрепетныхъ сердець, —  
Вотъ чѣмъ пѣвецъ лишь избранный владѣтъ!  
Вотъ въ чемъ его и признакъ и вѣнецъ!<sup>2)</sup>

Уступая ходячимъ понятіямъ, и нашъ поэтъ называетъ иногда содержаніе поэзіи мечтами и снами; но при этомъ совершенно ясно, что эти мечты и сны для него гораздо дѣйствительнѣе и важнѣе обыкновенной реальности, «вседневнаго удѣла»:

Все, все мое, чтò есть и прежде было:  
Въ мечтахъ и снахъ нѣтъ времени оковъ,  
Блаженныхъ грезъ душа не подѣлила,  
Нѣтъ старческихъ и юношескихъ сновъ.  
За рубежомъ повседневнаго удѣла  
Хотя на мигъ отрадно и свѣтло:  
Пока душа кипитъ въ горнилѣ тѣла,  
Она летитъ, куда несетъ крыло.

<sup>1)</sup> Тамъ же, выпускъ IV, стран. 8—9.

<sup>2)</sup> Тамъ же, 10.

Не говори о счастья, о свободѣ  
Тамъ, гдѣ царить желѣзная судьба:  
Сюда! сюда! Не рабство здѣсь природѣ, —  
Она сама здѣсь вѣрная раба!<sup>1)</sup>

То, что для толпы только праздная греза,—то поэтъ сознаетъ, какъ откровеніе высшихъ силъ, чувствуетъ, какъ ростъ тѣхъ духовныхъ крыльевъ, которыя уносятъ его изъ призрачнаго и пустого существованія въ область истиннаго бытія.

Я потрясенъ, когда кругомъ Гудятъ лѣса, грохочетъ громъ И въ блескъ огней гляжу я снизу, Когда, испугомъ обуянь, На скалы мечетъ океанъ Твою серебряную ризу. <i>Но просвѣтленный и нѣмой, Овяня властью неземной, Стою не въ этотъ мигъ тяжелей,</i>	<i>А въ часъ, когда, какъ бы во снѣ, Твой свѣтлый ангелъ шепчетъ мнѣ Неизреченные глаголы. Я зажигаюсь и горю, Я порываюсь и парю Въ томленьяхъ крайняго усилія И вѣрю сердцемъ, что растутъ И тотчасъ въ небо унесутъ Меня раскинутыя крылья<sup>2)</sup>.</i>
---	---

Самый способъ лирическаго творчества удивительно хорошо выраженъ нашимъ поэтомъ въ слѣдующихъ трехъ стихахъ:

Лишь у тебя, поэтъ, *крылатый слова звукъ  
Хватаетъ на лету и закрѣпляетъ вдругъ  
И темный бредъ души и травъ неясный запахъ<sup>3)</sup>.*

А для того, чтобы такимъ образомъ уловить и на вѣки идеально закрѣпить единичное явленіе, необходимо сосредоточить на немъ всѣ силы души и тѣмъ самымъ почувствовать сосредоточенныя въ немъ силы бытія; нужно признать его безусловную цѣнность, увидать въ немъ не что-нибудь, а фокусъ всего, единственный образчикъ абсолютнаго. Въ этомъ собственно и состоитъ созвучіе поэтической души съ истиной предметною, ибо по истинѣ не только каждое нераздѣльно пребываетъ во всѣмъ, но и все нераздѣльно присутствуетъ въ каждомъ. Отвлеченный пантеизмъ растворяетъ все единичное въ абсолютномъ, превращая это послѣднее въ пустую безразличность; истинное поэтическое созерцаніе, напротивъ, видитъ абсолютное въ индивидуальномъ явленіи не только сохраняя, но и безконечно усиливая его индивидуальность:

Только въ мірѣ и есть, что тѣнистый  
Дремлющихъ кленовъ шатерь!  
Только въ мірѣ и есть, что лучистый  
Дѣтски задумчивый взоръ<sup>4)</sup>.

Совершенно одинаково съ Фетомъ понимаетъ сущность лирической поэзіи и Полонскій, выразившій это пониманіе въ одномъ

<sup>1</sup> Вып. III, 48.

<sup>2)</sup> III, 26.

<sup>3)</sup> III, 8.

<sup>4)</sup> II, 28.

изъ прекраснѣйшихъ стихотвореній своего послѣдняго сборника (въ день пятидесятилѣтняго юбилея А. А. Фета). Это совпаденіе взглядовъ тѣмъ знаменательнѣе, что оба поэта, хотя настоящіе лирики, весьма не похожи другъ на друга по образу мыслей и во многихъ другихъ отношеніяхъ.

Вотъ эти удивительные стихи Полонскаго:

Ночи текли — звѣзды трепетно въ бездну лучи свои сѣяли...  
Капали слезы, — рыдала любовь, — и алѣлъ  
Жаркій разсвѣтъ, — и тѣ грезы, что въ сердцахъ мы тайно лелѣяли.  
Трель соловья разносила, и — бурей шумѣлъ  
Моря сердитаго валь. — думы зрѣли, и — рѣяли  
Сѣрья чайки .. Игру эту боги затѣяли..

Участникомъ этой міровой игры боговъ, а никакъ не провозвѣстникомъ своей субъективности, является истинный поэтъ:

Пѣсни его были чужды суетъ и минутъ увлеченія,  
Чужды теченію излюбленныхъ нами идей:  
Пѣсни его вѣковыя — въ нихъ вѣчный законъ тяготѣнья  
Къ жизни — и нѣга вакханки и жалоба фей...  
Въ нихъ находила природа свои отраженья...  
Были невняты и дикы его вдохновенья  
Многимъ, — но тайна боговъ требуетъ чуткихъ людей;  
Музыки выпрениій геній не даромъ любилъ сочетанія  
Словъ его, спаянныхъ въ «нѣчто» душевнымъ огнемъ;  
Геній поэзіи видѣлъ въ стихахъ его правды мерцаніе, —  
Капли, гдѣ солнце своимъ отраженнымъ лучомъ  
Намъ говорило: я солнце! <sup>1)</sup>

Прежде чѣмъ перейти къ содержанію лирической поэзіи, мы должны сначала остановиться въ той области лирическаго чувства, гдѣ никакого опредѣленнаго содержанія еще нѣтъ, гдѣ источникъ вдохновенія еще не нашелъ себѣ русла, гдѣ виденъ только взмахъ крыльевъ, слышенъ только вздохъ по неизреченности бытія:

О, если бъ безъ слова                    Сказаться душой было можно!

Чтобъ уловить и фиксировать эти глубочайшія душевныя состоянія, поэзія должна почти слиться съ музыкой; здѣсь въ особенности мы имѣемъ откровеніе той завѣтной глубины душевной, «гдѣ слово нѣмѣетъ, гдѣ царствуютъ звуки, гдѣ слышишь не пѣсню, а душу пѣвца». Фетъ мастеръ, какъ никто именно, въ этомъ родѣ лирики, и именно за относящіяся сюда стихотворенія онъ, главнымъ образомъ, подвергался осмѣянію своихъ порицателей. Между тѣмъ, въ общемъ составѣ лирической поэзіи отдѣлъ подобныхъ стихотвореній совершенно необходимъ: они въ простѣйшемъ и чистѣйшемъ видѣ представляютъ коренное лирическое настроеніе, истинный фонъ всякой лирики. Здѣсь поэтъ какъ бы открываетъ намъ самыя *корни* лирическаго

<sup>1)</sup> Полонскій. *Вечерній Звонъ*, 41—42.

творчества, которые сравнительно съ цвѣтущимъ растеніемъ, конечно темны, блѣдны и безформенны.

— «Сны и тѣни,  
Сновидѣнья,  
Въ сумракъ трепетно манящія.  
Не мѣшайте  
Мнѣ спускаться  
Къ переходу сокровенному!  
Дайте, дайте  
Мнѣ умчаться  
Съ вами къ свѣту отдаленному!..»

Всѣ ступени  
Усыпленья  
Легкимъ роємъ преходящія.  
— «Только минеть  
Сумракъ свода, —  
Тѣни станемъ мы прозрачныя  
И покинемъ  
Тамъ у входа  
Покрывала наши мрачныя». <sup>1)</sup>

Въ *Сборникъ* 1863 года есть много и болѣе совершенныхъ музыкально-поэтическихъ пьесъ. Въ *Вечерникъ Огня*, кромѣ сейчасъ приведеннаго стихотворенія, есть еще одно въ томъ же родѣ, но болѣе слабое по исполненію: неопредѣленному душевному порыву здѣсь соотвѣтствуетъ только отрывистость и краткость стиха, но не словесныя выраженія, которыя слишкомъ опредѣленны и потому прозаичны. Для сравненія привожу эти стихи:

Сновидѣнье —  
Пробужденье —  
Таесть мгла —  
Какъ весною  
Надо мною  
Высь свѣтла...  
Неизбѣжно,  
Страстно. нѣжно  
Уповать,

Безъ усилій,  
Съ плескомъ крылій,  
Залетать  
Въ міръ стремленій —  
Преклоненій  
И молитвъ, —  
Радость чужа,  
Не хочу я  
Вашихъ битвъ <sup>2)</sup>!

Помимо его безглагольныхъ и безпредметныхъ стихотвореній, у Фета есть и такія, въ которыхъ извѣстный опредѣленный мотивъ, любовь, картина природы, насквозь проникнуть безграничностью лирическаго порыва, не допускающаго никакихъ твердыхъ очертаній и какъ бы окутывающаго свой предметъ «дымкой-невидимкой». Такія стихотворенія также находятся на границѣ между поэзіей и музыкой, а иногда и прямо вызваны музыкальными впечатлѣніями.

Ты мелькнула, ты предстала —  
Снова сердце задрожало...  
Подъ чарующіе звуки  
То же счастье, тѣ же муки.  
Слышу трепетныя руки, —  
Ты еще со мной!  
Часъ блаженный, часъ печальный,  
Часъ послѣдній, часъ прощальный!  
Тѣ же легкія одежды.  
Ты стоишь склоняя вѣжды, —  
И ненужно мнѣ надежды:  
Этотъ часъ. — онъ мой.

Ты руки моей коснулась, —  
Разомъ сердце встрепенулось...  
Не туда, въ то горе злое, —  
Я несусь въ мое былое,  
Я на все, на все иное  
Отпылалъ, потухъ!  
Этой пѣснѣ чудотворной  
Такъ покоренъ міръ упорный!  
Пусть же сердце, полно муки,  
Торжествуетъ часъ разлуки  
И когда загаснутъ звуки —  
Разорвется вѣдругъ! <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> *Вечерніе Огни*. вып. I, стран. 218.

<sup>2)</sup> Вып. IV, 57.

<sup>3)</sup> Вып. I, 221.

Напряженный лирический порывъ этого прекраснаго стихотворенія находить свое разрѣшеніе въ слѣдующемъ, еще болѣе прекрасномъ:

Злая пѣснь, какъ больно возмутила  
 Ты дыханьемъ душу мнѣ до дна!  
 До зари въ груди дрожала, ныла  
 Эта пѣсня, — эта пѣснь одна.  
 И поющимъ отдаваться мукамъ  
 Было слаще обаянье сна:  
 Умереть хотѣлось съ каждымъ звукомъ,  
 Сердцу грудь казалася тѣсна.  
 Но съ зарей потухнулъ жаръ напѣвній.  
 И душа затихнула до дна.  
*Въ озаренной глубинѣ душевной  
 Лишь улыбка устъ твоихъ видна* 2).

Соловьевъ.

### Отношеніе критики и журналистики къ поэзіи въ 50-хъ гг.

Имя Фета давно знакомо всѣмъ людямъ съ изящнымъ вкусомъ, всѣмъ дилетантамъ по части чистаго искусства, всѣмъ читателямъ, способнымъ понимать живую поэзію, свободно выливающуюся изъ души симпатическаго смертнаго; но все-таки намъ кажется, что большинство нашей публики еще не высказалось относительно поэта нашего. Въ Англии, въ Германіи у насъ во время Пушкина книжка (сочин. Фета) выдержала бы нѣсколько изданій въ самое короткое время, — такъ она плѣнительна и оригинальна, такъ богата сокровищами самой ясной, самой благодатной поэзіи. А въ настоящее время успѣхъ стихотвореній Фета есть для него дѣло загадочное. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что книжка разойдется быстро, что она доставитъ многимъ людямъ много наслажденія, но такой результатъ, лестный для многихъ даровитыхъ стихотворцевъ, не покажется намъ результатомъ вполне удовлетворительнымъ. Книжку Фета мы хотѣли бы видѣть расхватавшею въ нѣсколько дней, изданною вновь и вновь, въ разныхъ форматахъ, мы хотѣли бы ее встрѣчать на всѣхъ столахъ и во всѣхъ библіотекахъ, намъ желательно, чтобъ ей нашлось мѣсто въ портсакѣ дорожнаго человѣка и въ карманѣ молодой дѣвушки, и на дачномъ балконѣ, и въ классномъ попирѣ студента, и въ портфель занятого чиновника. Поэтъ, способный оказать всякому читателю столько новаго, свѣтлаго и отраднаго, имѣетъ законное право на полное сочувствіе со стороны каждаго читателя. Для чего преклоняться передъ иноземнымъ, если у насъ есть свое, можетъ-быть, получше иноземнаго? Если цвѣтистый и напряженный Альфредъ Теннисонъ выдержалъ десять изданій, то почему А. А. Фету (принимая въ соображеніе число читающаго класса въ Россіи) не имѣть десяти

2) Тамъ же, 223.

изданій? Мы сейчасъ собирались принять въ соображеніе меньшее число читающей русской публики, сравнительно съ англійской, мы ее и приняли. Если масса покупателей англичанъ значительно обширнѣе массы покупателей русскихъ, — зато по нашему полному убѣжденію, свѣтлое дарованіе Фета далеко оставляетъ за собой вычурное дарованіе Альфреда Теннисона.

Итакъ, мы боимся, что публика наша можетъ не оцѣнить книжки стихотвореній Фета по достоинству, но постѣшимъ же прибавить къ отзыву нашему одно оправданіе для русской публики. Не изъ неразвитости и не изъ холодности наша публика можетъ не оцѣнить поэта о которомъ здѣсь говорится, эта самая публика обожала талантъ Пушкина, раскупала стихи Лермонтова и списывала комедіи Грибоѣдова. Но не забудемъ того, что читателей нашихъ, весьма шаткихъ и насмѣшливыхъ, наша критика и журналистика въ теченіе долгихъ лѣтъ усиленно отвращала отъ сочувствія къ дѣлу поэзіи. Въ дѣлѣ, по преимуществу, деликатномъ, въ воззрѣніяхъ, тонкихъ по существу своему, читатель былъ запутываемъ, сталкиваемъ съ прямого пути, развлекаемъ и заблуждаемъ. Съ одной стороны, его заставляли преклоняться передъ поэтами, не имѣвшими никакого поэтическаго дара; съ другой стороны, его сушили неодидактическими теоріями, по свойству своему враждебными всякому проявленію искусства чистаго. Одинъ журналъ возглашалъ, что публика должна преклониться передъ русскимъ Гёте, господиномъ такимъ-то, другой журналъ, въ то же самое время, опровергалъ всѣ заслуги русскаго Гёте, именуя его русскимъ Бавіемъ. Тамъ публикѣ говорили, что въ дѣлѣ стихотворства нѣтъ середины между *всѣмъ* и *ничѣмъ*, гениемъ и бездарностью, возвышенной дидактикой и гаерствомъ; въ другомъ мѣстѣ провозглашалась рѣшительная бесполезность стихотвореній, даже хорошихъ, даже весьма хорошихъ. Критика сороковыхъ годовъ, прекрасная въ главныхъ своихъ представителяхъ, но сухомертвенная въ подражаніяхъ и варіаціяхъ, имѣла слабую сторону въ своемъ дидактическомъ направленіи. Имѣя много важнаго дѣла передъ собою, она смотрѣла на поэзію съ исключительной точки зрѣнія и при всемъ своемъ достоинствѣ не вступалась за нее передъ публикою, не защищала ее отъ шутовъ и пародистовъ. Поэтому начинающему и второстепенному не было уголка на русскомъ Пиндѣ того времени. Печальная повѣсть, при всей бездарности нувелиста, цѣнилась за мысль въ ней скрытую, но никто не цѣнилъ второстепеннаго поэта за изящную картинку, за теплое чувство, за искру небснаго свѣта. Никто не давалъ руки и совѣта робкимъ пѣвцамъ, наиболѣе нуждающимся въ помощи и совѣтахъ. Оттого отъ суровой школы, обильной дарованіями всякаго рода, осталось намъ самое малое число поэтовъ истинныхъ, да и тѣ вполнѣ развились, вполнѣ окрѣпли только послѣ реакціи, возбужденной въ ихъ пользу, послѣ того періода, когда наша критика, наконецъ, поняла нелѣпость гоненія на поэтовъ. Четыре человека вполнѣ даровитые, говоримъ

мы, остались намъ. Мы говоримъ, про г. Некрасова — сильнаго чело-вѣка, умѣвшаго слить свою энергическую поэзію даже съ неодидактикой стараго времени, про г. Майкова, неутомимо трудящагося на пользу родной словесности, про г. Полонскаго, столько лѣтъ хранившаго свой скромный свѣтильникъ посреди холодности и невниманія цѣнителей, и, наконецъ, про г. Фета, котораго оригинальное дарованіе, приближающееся къ дару импровизаторовъ, или, еще вѣрнѣе, древнихъ *труверовъ*, неспособно пострадать ни отъ какого литературнаго направленія.

Если поэты сильные и даровитые, въ былое время, какъ будто уклонялись отъ значенія и званія поэтовъ, то какъ же должна была публика смотрѣть на это значеніе и это званіе? Очарованіе было разрушено; слово Парнасъ возбуждало однѣ смѣшныя мысли; въ умахъ публики поэтъ представлялся существомъ бесполезнымъ, безъ-толку болтающимъ — почти что помѣшаннымъ. Онъ обязанъ былъ пѣть превосходно, или не пѣть вовсе: среднихъ терминовъ не допускалось. Говорятъ намъ, что въ игрѣ на скрипкѣ не можетъ быть посредственности, но мы имѣемъ слабость думать, что самъ Паганини, хотя одинъ день въ своей жизни, а игралъ посредственно. Во всякомъ новомъ поющемъ голосѣ (а голоса эти являлись рѣже съ каждымъ годомъ) публика ждала паганиниевыхъ совершенствъ, но совершенства сразу не сказывались, и публика переставала слушать, и голоса умолкали при шиканьи остроумныхъ рецензентовъ. А такіе рецензенты являлись сотнями. Дѣйствительно, смѣяться надъ поэзією весьма легко и выгодно. Для дѣльнаго слова объ ученой книгѣ надо знать науку, для разбора сноснаго романа или повѣсти не совсѣмъ глупой потребно имѣть хоть какой-нибудь эстетическій взглядъ, — но для глумленія надъ стихотвореніями требуется лишь бойкое перо и безсовѣстность передъ слабымъ.

И тутъ-то стали появляться шутки, фельетонные разглагольствованія и совѣты начинающему дѣятелю, и насмѣшки надъ луною, и дивирамбы о старомъ времени, когда за удачное стихотвореніице давалась слава, и ребяческое заключеніе о томъ, что теперь мы уже не тѣ, что мы серіозные люди, о томъ, что въ душѣ нашей возникаютъ великіе вопросы.

*Дружининъ.*

---

### Очеркъ литературной дѣятельности Фета.

По содержанію своему оригинальная поэтика Шеншина можетъ быть подраздѣлена на лирику настроеній: 1) любовныхъ, 2) природныхъ, 3) философскихъ и 4) социальныхъ. Какъ пѣвецъ женщины и любви къ ней, Фетъ можетъ быть названъ славянскимъ Гейне; это — Гейне незлобивый, безъ социальной ироніи и безъ міровой скорби, но столь же тонкій и нервный, и даже еще болѣе нѣжный. Если Фетъ часто говоритъ въ своихъ стихахъ о «благоуханномъ

кругъ», окружающемъ женщину, то и его любовная лирика — тѣсная область благоуханной идеалистической красоты; трудно вообразить себѣ болѣе рыцарственно-нѣжное поклоненіе предъ женщиной, чѣмъ въ стихахъ у Фета. Когда онъ говоритъ усталой красавицѣ (въ стихотвореніи: «На двойномъ стеклѣ узоры»): «Ты хитрила, ты скрывала, ты была умна; ты давно не отдыхала, ты утомлена. Полонъ нѣжнаго волненья, сладостной мечты, буду ждать успокоенья чистой красоты»; когда онъ, видя влюбленную чегу, чувства которой не поддаются выраженію, съ живѣйшимъ волненіемъ восклицаетъ (въ стихотвореніи «Она — ему образъ мгновенный», 1892): «Да кто это знаетъ, да кто это выскажетъ имъ?»; когда трубадуръ поетъ съ бодрымъ веселіемъ утреннюю серенаду: «Я пришелъ къ тебѣ съ привѣтомъ» и съ тихою нѣжностію вечернюю серенаду «Тихо вечеръ догораетъ»; когда онъ съ истеричностью страстно влюбленного заявляетъ своей возлюбленной (въ стихотвореніи «О, не зови»), что ей не надо звать его словами: «И не зови — но пѣсню на удачу любви запой; на первый звукъ я, какъ дитя, заплачу, и — за тобой»; когда онъ зажигаетъ передъ женщиной свои вечерніе огни «колѣнопреклоненный и красотою умиленный» (стихотвореніе 1883 г. «Полонскому»); когда онъ же (въ стихотвореніи: «Если радуется утро тебя») проситъ дѣву: «подари эту розу поэту» и общается ей въ обмѣнъ вѣчно душистые стихи, «въ стихѣ умиленномъ найдешь эту вѣчно душистую розу»; возможно ли тогда не восхищаться этою любовною лирикой, и не готова ли повторить, читая Фета, благодарная русская женщина восклицаніе Евы въ «Нюрнбергскихъ мейстерзингерахъ» Рих. Вагнера, увѣнчивающей лаврами своего трубадура, Вальтера: «Никто, кромѣ тебя, не можетъ помогать любви съ такимъ обаяніемъ» («Keiner, wie du, so süß zu werben mag»). Удачныхъ, любовно-лирическихъ стихотвореній у Шеншина очень много; ихъ можно считать чуть ли не десятками.

Большой знатокъ и цѣнитель природы вообще и русской въ особенности, Фетъ создалъ цѣлый рядъ шедевровъ и въ сферѣ лирики природныхъ настроеній; эту лирику у него надо искать подъ рубриками: «Весна. Лѣто. Осень. Снѣга. Море». Кому неизвѣстны по хрестоматіямъ стихотворенія: «Печальная береза у моего окна», «Теплый вѣтеръ тихо вѣетъ, жизнью свѣжей дышитъ степь», «На Днѣпрѣ въ половодѣ» («Свѣтало. Вѣтеръ гнулъ упругое стекло»). А сколько еще у Фета стихотвореній менѣе извѣстныхъ, но подобныхъ же и не худшихъ! Природу онъ любилъ во всей ея совокупности, не только пейзажъ, но и царство растительное и животное во всѣхъ деталяхъ; поэтому у него такъ хороши стихотворенія «Первый ландышъ», «Кукушка» (1886 г.) и «Рыбка» («Тепло на солнышкѣ» извѣстна по хрестоматіямъ). Разнообразіе природныхъ настроеній у Фета поразительно; ему одинаково удаются и осеннія картинки (напримѣръ, «Хандра» съ заключительными ея стихами: «Надъ дымящимся стаканомъ остывающаго чаю,

слава Богу, понемногу, будто вечеръ, засыпаю», и весеннія, на-примѣръ, «Весна на дворѣ». Въ области этого рода лирики Фетъ стоитъ наравнѣ съ Тютчевымъ, этимъ русскимъ пантеистомъ или, точнѣе, панпсихистомъ, одухотворившимъ природу.

Замѣтно ниже Тютчева Фетъ въ своихъ лирическихъ стихотвореніяхъ, посвященныхъ философски-религіозной лирики. Таковы стихотворенія «На кораблѣ» (1857 г.), «Кому вѣнецъ: богинѣ ль красоты» (1865 г.), «Не тѣмъ Господь могучъ, непостижимъ» (1879 г.), «Когда божественный бѣжалъ людскихъ рѣчей» (1883 г.), «Я потрясенъ, когда кругомъ» (1885 г.) и т. д. Характерно для поэтики Фета слѣдующее различіе между нимъ и Лермонтовымъ: въ стихотвореніи: «На воздушномъ океанѣ» (въ «Демонѣ») Лермонтовъ воспѣваетъ байроническое безстрастіе небесныхъ свѣтилъ, въ стихотвореніи же «Молятся звѣзды» (въ «Вечернихъ огняхъ») Фетъ воспѣваетъ кроткое христіански-религіозное состраданіе звѣздъ къ людямъ («Слезы въ алмазномъ трепещутъ ихъ взорѣ — все же безмолвно горятъ ихъ молитвы»); у Лермонтова есть міровая скорбь, у Фета — лишь міровая любовь. Эта міровая любовь Фета, однако, не глубока, ибо она не въ силахъ объять челоуѣчество и современное Шеншину русское общество, волновавшееся въ 1860-е годы широкими, до извѣстной степени, общечелоуѣческими вопросами.

Особое, не очень значительное мѣсто въ литературной дѣятельности Шеншина занимаютъ его многочисленные переводы. Они отличаются дословностью, но слогъ ихъ значительно напряженнѣе, искусственнѣе и неправильнѣе, чѣмъ въ оригинальной лирикѣ Фета. Онъ упустилъ изъ виду основной приемъ лучшаго изъ русскихъ стихотворныхъ переводчиковъ, Жуковскаго: переводить мысль, а не выраженія подлинника, замѣняя эти выраженія равносильными, но составленными въ духѣ русскаго языка; Жуковскій этимъ приемомъ достигалъ легкости и граціи своего переводнаго стиха, почти не нуждавшася въ комментаріяхъ, которыми Фетъ слишкомъ ужъ обильно уснащаетъ свои переводы античныхъ классиковъ. Тѣмъ не менѣе, это все-таки лучшіе стихотворные переводы изъ всѣхъ другихъ, имѣющихся на русскомъ литературномъ рынкѣ и посвященныхъ истолкованію тѣхъ же авторовъ. Особенно извѣстны фетовскіе переводы Горація, котораго Фетъ переводилъ видимо *сop amore*, смакуя эпикурейскую поэзію античнаго лирика-помѣщика и мысленно проводя параллели между идиллическимъ благодушичаньемъ Горація и собственнымъ деревенскимъ житьемъ-бытьемъ. Обладая отличнымъ знаніемъ нѣмецкаго языка, Фетъ очень успѣшно перевелъ Шопенгауера и «Фауста» Гёте. Въ итогѣ лучшая часть оригинальной лирики Фета обезпечиваетъ за нимъ весьма видное мѣсто не только въ русской, но и въ западно-европейской поэзіи XIX в.

## Стихотворенія Фета со стороны содержанія и формы.

Главная заслуга Фета въ его оригинальной лирикѣ. Фетъ никогда не забывалъ правила Вольтера: «Le secret d'enneyer c'est celui de tout dire» и той «надписи» (tabula votiva) Шиллера «Художникъ», которая гласитъ: «Мастера прочихъ искусствъ по тому, что онъ высказалъ, судять; мастеръ лишь слова блеститъ знаньемъ, о чемъ умолчать», Фетъ разсчитываетъ всегда на вдумчиваго читателя и помнить мудрое правило Аристотеля, что въ наслажденіи красотой есть элементъ наслажденія мышленіемъ. Лучшимъ его стихотвореніямъ всегда присущъ лаконизмъ. Примѣръ — слѣдующее восьми-стишіе изъ «Вечернихъ огней»:

Не смѣйся, не дивися мнѣ,  
Въ недоумѣннѣ дѣтски-грубомъ,  
Что передъ этимъ *дряхламъ* дубомъ  
Я вновь стою по старинѣ.

Немного листьевъ на челѣ  
Больного старца уцѣлѣли;  
Но вновь съ весною прилетѣли,  
И жмутся горленки въ дуплѣ.

Тутъ поэтъ не договариваетъ того, что самъ онъ подобенъ дрях-лому дубу, жизнерадостныя мечты въ его сердцѣ — «горленкамъ въ дуплѣ»; читатель долженъ самъ догадаться объ этомъ, и чита-тель догадывался легко и съ удовольствіемъ, такъ какъ стилисти-ческой лаконизмъ Фета тѣсно связанъ съ поэтическимъ *символизмомъ*, т.-е. съ краснорѣчивымъ языкомъ образовъ и картинныхъ парал-лелей.

Второе достоинство Фета, какъ лирика, тѣсно связанное съ его символизмомъ, это — его *аллегоризмъ*, т.-е. умѣнье, точно обозначивъ въ заглавіи предметъ пѣснопѣнія, подбирать къ нему поэтическія сравненія, оживляющія интересъ къ прозаическому явленію; при-мѣры — стихотворенія «На желѣзной дорогѣ» (сравненіе желѣзно-дорожнаго поѣзда съ «огненнымъ змѣемъ») и «Пароходъ» (сравненіе парохода съ «злымъ дельфиномъ»).

Третья добродѣтель великаго лирика — умѣнье небрежно на-брасывать слова, картины и образы, не связывая ихъ стилисти-чески, въ полной увѣренности, что внутренняя связь дастъ въ ре-зультатѣ то, что называется *настроениемъ*; общеизвѣстные примѣры: «Шопоть... робкое дыханье... трели соловья...» и т. д. «Чудная кар-тина, какъ ты мнѣ родна: бѣлая равнина... полная луна» и т. д. Такія стихотворенія особенно удобны для музыки, а именно — для романса. Неудивительно, что, съ одной стороны, Фетъ цѣлый раз-рядъ своихъ стихотвореній обозначаетъ словомъ «мелодіи», а съ другой стороны, многія стихотворенія Фета иллюстрированы музыкою; ком-позиторами русскими («Тихая звѣздная ночь», «На зарѣ ты ея не буди», «Не отходи отъ меня», «Я тебѣ ничего не скажу», музыка Чайковскаго, и т. д.) и иностранными («Та же тихая звѣздная ночь», «Шопоть, робкое дыханье» и «Я долго стоялъ неподвижно», музыка г-жи Віардо). Четвертое положительное качество лирики Фета — его *версификація*, ритмически разнообразная, благодаря разнообразію

въ числѣ стопъ одного и того же размѣра (примѣръ: «Тихо вечеръ догораетъ» — 4-стопный ямбъ, «Горы золотыя» — 3-стопный, и т. д., въ томъ же порядкѣ) и съ удачными попытками новаторства въ комбинаціи двухсложныхъ размѣровъ съ трехсложными, наприм., ямба съ амфибрахіемъ что давно уже практикуется въ нѣмецкомъ стихосложеніи, теоретически допускалось у насъ на Руси уже Ломоносовымъ, но въ русскомъ стихотвореніи до Фета встрѣчалась очень рѣдко (примѣръ изъ «Вечернихъ огней, 1891 г.: «Давно въ любви отрады мало» — 4-стопный ямбъ, «Безъ отзыва вздохи, безъ радости слезы» — 4-стопный амфибрахій, и т. д. въ томъ же порядкѣ). Всѣ названныя достоинства присущи всей вообще области фетовской оригинальной лирики, независимо отъ ея содержанія. Иногда, однако, Феть теряетъ чувство мѣры и, обходя Сциллу чрезмѣрной ясности и прозаичности, попадаетъ въ Харибду чрезмѣрной темноты и поэтической напыщенности, игнорируя завѣтъ Тургенева относительно того, что «недоумѣніе — врагъ эстетическаго наслажденія», и забывая, что въ словахъ Шиллера о мудромъ умалчиваніи надо подчеркивать слово „*мудрое*“, и что аристотелевское «наслажденіе мышленіемъ» исключаетъ головомомную работу надъ стихами-шарадами и стихами-ребусами. Напримѣръ, когда въ «Вечернихъ огняхъ» Феть, воспѣвая красавицу, пишетъ: «На лету, весеннихъ порывовъ подвластный, дохнулъ я струею и чистой и страстной у плѣннаго ангела съ вѣющихъ крыль», то невольно вспоминаются слова Тургенева въ письмѣ къ Фету 1858 г.: «Эдипъ, разрѣшившій загадку Сфинкса, завылъ бы отъ ужаса и побѣжалъ бы прочь отъ этихъ двухъ хаотически-мутно-непостижимыхъ стиховъ». Объ этихъ неясностяхъ фетовскаго стиля слѣдуетъ упомянуть уже потому, что имъ подражаютъ русскіе декаденты.

*Всев. Чешихинъ.*

### Творчество Фета.

Поэзія Фета состоитъ изъ ряда картинъ природы, изъ антологическихъ очерковъ, изъ сжатаго изображенія немногихъ, неуловимыхъ ощущеній души нашей. Стало-быть, сердце волнуется отъ вѣрности этихъ картинъ природы, отъ мастерскаго исполненія антологическихъ очерковъ, отъ умѣнья поэта ловить неуловимое, давать образъ и названіе тому, что до него было не чѣмъ инымъ, какъ смутнымъ мимолетнымъ ощущеніемъ души человѣческой, — ощущеніемъ безъ образа и названія. Но знаетъ ли человѣкъ о томъ, какую великую роль въ его жизни играютъ мимолетныя духовныя ощущенія, какъ сильно сплетаются они съ его существованіемъ, какъ крѣпко помнятся они, какъ трепещетъ душа его при каждомъ о нихъ намекѣ? Сила Фета въ томъ, что поэтъ нашъ, руководимый своимъ вдохновеніемъ, умѣетъ забираться въ сокровеннѣйшіе тайники души человѣческой. Область его не велика, но въ ней онъ — полный властелинъ, неспособный бояться никакого совмѣстничества. Вдохновеніе

и вѣра въ силу вдохновенія, глубокое пониманіе красотъ природы, сознание того, что проза жизни кажется прозою лишь для очей, не просвѣтленныхъ поэзій, — вотъ особенности Фета, обличающія въ немъ поэта несомнѣннаго, чистаго, неспособнаго къ скептицизму или колебанію въ своемъ призваніи. Сверхъ того, у поэта нашего есть еще два драгоцѣнныхъ качества — зоркость взгляда, разгадывающаго поэзію въ предметахъ самыхъ обыкновенныхъ, и неотступное упорство въ творествѣ, не успокоивающееся до тѣхъ поръ, пока данный и подсмотрѣнный поэтическій моментъ не переданъ съ безграничною вѣрностію. Любопытно слѣдить за тѣмъ, какъ иногда Фетъ относится къ поэзіи, его поразившей, — поэзіи, просящей воплощенія, требующей словъ и размѣра для ея уловленія. Онъ кидается на свой предметъ какъ *орелъ* на добычу, и очень часто схватываетъ его съ перваго разу, схватываетъ вполнѣ, возсоздаетъ его небольшимъ количествомъ словъ, къ которымъ величайшій поэтическій гений не сумѣетъ приладить одного лишняго слова. Но иногда дѣло, по неуловимости предмета, идетъ иначе. Поэтъ борется со своей темой, какъ съ упорнымъ противникомъ, пытается передать свои чувства музыкой стиха, смѣшивать туманъ съ свѣтомъ и тѣнью, и иногда остается побѣжденнымъ, но чаще оканчиваетъ свою задачу съ непримѣрнымъ успѣхомъ. Этимъ-то путемъ мы объясняемъ значеніе фетовской дѣятельности во всей ея совокупности, обиліе прежнихъ стихотвореній, слабыхъ по исполненію, еще большее количество другихъ вещей, въ которыхъ прелестная поэтическая искра чуть брезжитъ посреди тумана и нестройнаго хаоса. Но въ книжкѣ, которая теперь лежитъ предъ читателемъ, нѣтъ произведеній слабыхъ или недодѣланныхъ. Тутъ мы видимъ поэта нашего побѣдителемъ на всѣхъ пунктахъ. Здѣсь неуловимое является схваченнымъ: поэзія воплощена въ гармоническое слово, туманнѣйшіе моменты нашей жизни разъяснены и отдѣлены отъ тумана. Въ книгѣ своихъ стихотвореній, нынѣ изданныхъ, Фетъ является тѣмъ, чѣмъ всегда долженъ быть поэтъ могущественнаго дарованія, то-есть человекомъ зрячимъ по преимуществу, истолкователемъ нашей житейской поэзіи.

Взглянувши на все дѣло съ вышепоказанной точки зрѣнія, мы безъ труда выяснимъ себѣ всѣ особенности фетовской поэзіи и — мало того — будемъ способны анализировать самое наслажденіе, ею доставленное. Поэтъ уясняетъ намъ мимолетные порывы собственныхъ сердецъ нашихъ, предъ той или другой сценой природы выговариваетъ то самое, что мы сами сказать бы хотѣли. Онъ даетъ слово и голосъ восхитительнымъ грезамъ давно забытаго дѣтства нашего, онъ говоритъ своему читателю (если этотъ читатель не чуждъ поэзіи): «вотъ что душа твоя чувствовала въ минуту хандры, въ сладкія лѣтнія ночи, въ зимнюю вьюгу; вотъ отчего именно билось твое сердце при приближеніи весны; вотъ какія черты поражали тебя въ степи вечеромъ, на снѣжной полянѣ, залитой снѣжнымъ сіяніемъ. *Я не выдумываю моихъ натѣвовъ, я ихъ угадываю.* Тамъ, гдѣ я угадалъ, твой глазъ

туманится слезой, и сердце твое бьется сильнѣе, и поэтическія ощущенія нагоняють на тебя сладостную дрожь, и весь ты начинаешь порываться къ прошлому». И надо признаться, для угадыванія тончайшихъ отношеній души человѣческой къ окружающему ея міру, для подсматриванія химической связи (просимъ прощенья за метафору) между всѣмъ существомъ нашимъ и чудесами видимой природы — мы не знаемъ поэта, щедрѣе одареннаго. Міровымъ, европейскимъ народнымъ поэтомъ Фетъ никогда не будетъ; какъ двигатель и просвѣтитель, онъ не совершитъ пути, пройденнаго великимъ Пушкинымъ. Въ немъ не имѣется драматизма и ширины воззрѣнія, его міросозерцаніе есть міросозерцаніе самаго простаго смертнаго, его вдохновеніе не выдержитъ продолжительнаго напряженія. Но сами эти условія, отдаляя Фета отъ стези поэтовъ, подобныхъ Пушкину, Шиллеру, Байрону, навѣки укрѣпляютъ его собственную область, въ которой, какъ мы сказали выше, нѣтъ у него ни сверстниковъ ни соперниковъ. Предъ лицомъ вѣчно спокойной антологической древности, наединѣ съ прелесгами природы, подъ вліяніемъ не многосложныхъ, но нѣжныхъ ощущений, Фетъ — поэтъ самаго высшаго разбора. Подъ стихотвореніемъ, которымъ начинается книжка («О, долго буду я въ молчаніи ночи тайной»), имя Пушкина не возбудило бы никакого удивленія въ читателѣ; мастерской, неслыханно-прелестный антологическій очеркъ «Діана» сдѣлалъ бы честь перу самого Гёте въ блистательнѣйшій періодъ для германскаго олимпійца. Въ нашемъ отзывѣ нѣтъ преувеличенія, хоть не одному читателю онъ можетъ показаться преувеличеннымъ. Выписываемъ оба стихотворенія въ знакъ того, что не боимся принять на себя полную отвѣтственность за свой отзывъ.

1.

О, долго буду я, въ молчаньи ночи тайной,  
Коварный лепетъ твой, улыбку, взоръ случайный.  
Перстамъ послушную волосъ густую прядь  
Изъ мыслей изгонять и снова призывать;  
Дыша порывисто, одинъ, никѣмъ не зримый,  
Досады и стыда румянами палимый,  
Искать хотя одной загадочной черты  
Въ словахъ, которыя произносила ты;  
Шептать и поправлять былыя выраженья  
Рѣчей моихъ съ тобой, исполненныхъ смущенья,  
И въ опьянѣніи, наперекоръ уму,  
Завѣтнымъ именемъ будить ночную тьму.

2.

Богини дѣвственной округляя черты,  
Во всемъ величїи блестящей наготы.  
Я видѣлъ межъ деревъ надъ ясными водами.  
Съ продолговатыми, безцвѣтными очами,  
Высоко поднялось открытое чело;  
Его недвижностью вниманье облегло, —  
И дѣвъ моленію въ тяжелыхъ мукахъ чрева  
Внимала чуткая и каменная дѣва.

Но вѣтеръ на зарѣ между листовъ проникъ, —  
Качнулся на водѣ богини ясный ликъ;  
Я ждалъ, — она пойдетъ съ колчаномъ и стрѣлами.  
Модочной бѣлизной мелькая межъ древами,  
Взирать на сонный Римъ, на вѣчный славы градъ,  
На желтоводный Тибръ, на группы колоннадъ,  
На стогны длинны... Но мраморъ недвижимый  
Бѣлѣлъ передо мной красой непостижимой.

Всѣ силы, всѣ средства поэта направлены на одинъ пунктъ и совокупностию своего дѣйствія создаютъ предъ читателемъ картины безпримѣрно поэтическія. Тутъ нечего замѣтить, нечего поправить, нечего пожелать даже — и содержаніе, и картинность, и жизнь, и музыка стиха, и мастерская постепенность рѣчи, и великолѣпныя заключительныя строки — все это само просится въ память, все это говоритъ нашему сердцу.

Въ двухъ выше приведенныхъ нами стихотвореніяхъ Фетъ беретъ сцены и моменты, удобные для передачи. Трудъ его можетъ показаться легкимъ въ нѣкоторомъ смыслѣ. Описать прерывистымъ страстнымъ стихомъ ощущенія влюбленнаго юноши посреди молчанья ночи тайной, ясными образами возсоздать впечатлѣніе, производимое мраморной статуей Діаны у спящихъ водъ, между зеленою, можетъ поэтъ не очень тонкаго разбора. Сюжеты ясны и не избиты, ихъ поэзія сама просится наружу. Изслѣдуемъ же манеру Фета надъ задачами болѣе трудными, надъ темами или прозаическими, или приближающимися къ общему мѣсту.

Кто напримѣръ, изъ нашихъ поэтовъ не описывалъ заката солнца въ тихій лѣтній вечеръ, кто не вдохновлялся видомъ цвѣтущей степи и не пробовалъ возсоздавать ясными изображеніями ощущеній, производимыхъ подобными сценами природы на нашу душу? Для того, чтобъ по этой части сказать что-либо особенное, надо быть художникомъ по преимуществу. На русскомъ языкѣ мы знаемъ безконечное число стихотвореній такого рода, между ними несомнѣнное первенство принадлежитъ отрывку изъ «Онѣгина», съ описаніемъ Татьянина перехода вечеромъ къ дому Евгенія. Лермонтовъ въ своемъ знаменитомъ стихотвореніи: «Какъ часто пестрою толпою окруженъ» рисуетъ намъ изображеніе не менѣе плѣнительное: старый барскій садъ въ часъ вечерней зари, просвѣчивающей сквозь листья темной аллеи, въ виду пруда, подернутаго зеленой вѣтвю травъ и разрушенной теплицы. Послѣ подобныхъ безсмертныхъ картинъ трудно создать что-либо къ нимъ приближающееся. Но Фетъ, всегда чуждый подражанія, пробуетъ перенести насъ въ степь вечеромъ. И онъ выполняетъ свою тему блистательнымъ образомъ:

*Клубятся тучи, мля въ блескъ аломъ,  
Хотя въ росѣ понѣжиться поля,  
Въ послѣдній разъ, за третьимъ переваломъ  
Пропасть ящикъ, звеня и не пыля.*

Нигдѣ жилья не видно на просторѣ,  
 Вдали огня иль пѣсни — и не ждешь!  
 Все степь да степь. Безбрежная, какъ море,  
 Волнуется и наливаетъ рожь.  
*За облакомъ до половины скрыта,  
 Луна свѣтитъ еще не смѣетъ днемъ;  
 Вотъ жукъ взлетѣлъ и прожужжалъ сердито,  
 Вотъ лунь проплылъ, все шевеля крыломъ.  
 Покрылись нивы стѣюю золотистой;  
 Тамъ перепелъ откликнулся вдали,  
 И слышу я — въ изломинѣ росистой  
 Вполголоса скрипятъ коростели.*  
 Ужъ сумракомъ пыльный взоръ обмануть,  
 Среди тепла прохладою стало дуть.  
 Луна чиста. Вотъ съ неба звѣзды глянуть,  
 И, какъ рѣка, засвѣтитъ млечный путь.

Перечитывая это стихотвореніе, ничего не теряющее возлѣ произведеній Пушкина и Лермонтова, мы тотчасъ увидимъ и оцѣнимъ отличительные признаки поэта нашего. Онъ весь живетъ моментомъ, имъ схваченнымъ, онъ какъ бы отрѣшается отъ своей личности и возсоздаетъ поразившую его картину, не выпуская изъ нея малѣйшей подробности. Пушкинъ, какъ художникъ, близкій къ гениальности, набрасываетъ свое созданіе небольшимъ числомъ штриховъ, неподражаемо вѣрныхъ, а затѣмъ оставляетъ читателя работать своимъ воображеніемъ. Лермонтовъ вноситъ свои личныя воспоминанія, свою собственную поэтическую грусть въ строки, о которыхъ мы говорили. Фетъ, уступая обоимъ поэтамъ въ ширинѣ кисти, въ энергіи замысла, восполняетъ неравенство чрезъ группированіе и отдѣлку подробностей. Онъ схватываетъ всѣ мелкія черты, характеризующія вечеръ въ степи, онъ упоминаетъ о взлетѣвшемъ жукѣ и коростеляхъ, скрипящихъ въ росистой ложбинѣ, онъ прилаживаетъ складъ своего стиха къ общему тону произведеній, и результатомъ своего труда можетъ гордиться по справедливости. Степь вечеромъ залегаетъ въ душу читателя и остается въ ней вѣчно. Несмотря на нѣкоторую неправильность въ языкѣ, отъ которой Фетъ едва ли когда-нибудь отдѣляется, авторъ разбираемой книжки въ высокой степени обладаетъ еще одной особенностію, рѣдкою въ нынѣшнихъ поэтахъ, а именно — высокой музыкальнію стиха. Немногіе изъ служителей Аполлона до такой степени разумѣютъ значеніе музыки словъ, немногіе умѣютъ выбирать столь удачно размѣръ для своихъ произведеній. Въ этомъ отношеніи нашъ поэтъ чутокъ и тонокъ. У него есть вещи, бьющія въ цѣль по одной своей музыкѣ. Стихами Фета можно зачитываться до головокруженія; въ нихъ есть нѣчто обаятельное, звучащее какъ струны, волнующее сердце, какъ изящная музыкальная симфонія. Высчитывать стихотворенія такого рода было бы слишкомъ долго, ибо мы не знаемъ стихотвореній Фета, составленныхъ немусикально. Впрочемъ, укажемъ на вещи «Растутъ, растутъ, причудливыя тѣни», «Люди спятъ; мой другъ, пойдемъ въ тѣнистый

садъ», на серенаду «Тихо вечеръ догораетъ», на романсы: «Спи, еще съ зарею» и «На зарѣ ты ея не буди», уже положенные на музыку, которая, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, едва ли стѣбитъ музыки словъ, написанной самимъ поэтомъ. Но не можемъ отказать себѣ въ одномъ удовольствіи — перепечатать одно произведеніе, менѣе другихъ замѣченное цѣнителями, но, по нашему мнѣнію, поражающее своей музыкальностью, далеко уходящее за границы, до которыхъ когда-либо добиралась современная поэзія послѣ Пушкина:

Ты спишь одинъ, забытъ на мѣстѣ дикомъ,  
Старинный монастырь!  
Твой сводъ упалъ; кругомъ летаютъ съ крикомъ  
Сова и нетопырь.  
И стеколь нѣтъ, и свищетъ вихорь ночи  
Во впадину окна,  
Да плющъ растетъ, да устремляетъ очи  
Полуночная луна.  
И кто-то тамъ мелькаетъ въ свѣтѣ лунномъ,  
Блеститъ его уборъ —  
И слышатся на помостѣ чугуномъ  
Шаги и звуки шпоръ.  
И грустную симфонію печали  
Звучитъ во тьмѣ органъ...  
То тихо все, какъ будто вѣчно спали  
И стѣны и органъ.

Зная это стихотвореніе наизусть, перечитывая его нѣсколько разъ, мы до сихъ не можемъ охладѣть къ эффекту, имъ производимому. Это совершеннѣйшее музыкальное *posturno*, не только рисующее предъ нашей фантазіей величавую картину развалинь, озаренныхъ луною, но еще, сверхъ того, уносящее нашу душу въ отдаленнѣйшія области, о которыхъ трудно говорить сухою прозою.

*Дружининъ.*

21 ноября 1892 года скончался въ Москвѣ, послѣ долгихъ и тяжкихъ страданій, Аѳанасій Аѳанасьевичъ Шеншинъ, столь извѣстный въ нашей литературѣ подъ именемъ Фета.

Это былъ одинъ изъ самыхъ своеобразныхъ поэтическихъ талантовъ въ литературномъ поколѣніи, слѣдовавшемъ непосредственно за Пушкинымъ. Въ чрезвычайной оригинальности его дарованія заключается причина, почему о немъ судили такъ различно. Дѣйствительно, у него были и горячіе поклонники и жестокіе порицатели. Осуждали его за тотъ кругъ поэтическаго содержанія, который онъ намѣтилъ себѣ въ удѣлъ, и въ которомъ неизмѣнно вращалось его дарованіе; его упрекали за равнодушіе къ интересамъ минуты, къ современнымъ общественнымъ вопросамъ, къ злобѣ дня; его осмѣивали и писали на него пародіи. Но, какъ справедливо замѣтилъ одинъ изъ лучшихъ литературныхъ цѣнителей Фета, графъ А. А. Голенищевъ-Кутузовъ, изъ всѣхъ нашихъ поэтовъ послѣ-пуш-

кинскаго періода онъ былъ самымъ полнымъ воплощеніемъ той свободы творчества, той независимости отъ преходящихъ условій мѣста и времени, о которой неоднократно говорилъ Пушкинъ, какъ объ одномъ изъ самыхъ коренныхъ свойствъ художника, и въ то же время, какъ о драгоценномъ правѣ каждаго носителя истинной поэзіи:

Ты — царь. Живи одинъ, дорогою свободной  
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ...

И Фетъ страстно дорожилъ этою поэтическою свободой, горячо и твердо отстаивалъ свое право на нее. Въ одномъ многочисленномъ собраніи въ Москвѣ, въ январѣ 1858 года, гдѣ много и съ жаромъ говорилось о способахъ разрѣшенія только что возбужденнаго тогда крестьянскаго вопроса, къ Фету подошелъ М. Н. Катковъ и съ одушевленіемъ сказалъ ему: «Вотъ бы вамъ вашимъ перомъ иллюстрировать это событіе». «Я», — вспоминалъ въ послѣдствіи Фетъ, — «не отвѣчалъ ни слова, не чувствуя въ себѣ никакихъ силъ иллюстрировать какія бы то ни было событія. Я никогда не могъ понять, чтобы искусство интересовалось чѣмъ-либо, помимо красоты». Фетъ не разъ высказывалъ свои мысли объ отношеніи поэзіи къ обстоятельствамъ времени. Онъ полагалъ, что «художникъ, избирая предметомъ своего творчества вѣковѣчныя явленія міра внутренняго или вѣшняго, не рискуетъ, что ихъ узнаютъ въ его произведеніи; напротивъ того, съ неустановившимися историческими образами, тѣмъ болѣе съ предметами современными, бѣда самому первоклассному поэту». Извѣстное стихотвореніе Тютчева:

Эти бѣдныя селенья,  
Эта скудная природа...

восхищало Фета своимъ поэтическимъ достоинствомъ независимо отъ мысли, которая можетъ быть въ немъ угадана. Оцѣнивая эти двѣнадцать строкъ со своей точки зрѣнія, Фетъ находилъ, что онѣ «были бы современными и за двѣ тысячи лѣтъ предъ симъ, какъ, вѣроятно, останутся таковыми же еще на неопредѣленное время». Уже на склонѣ лѣтъ, привѣтствуя посѣтившую его музу, Фетъ говорилъ:

Пришла и сѣла. Счастливъ и тревоженъ,  
Ласкательный твой повторяю стихъ;  
И если даръ мой предъ тобой ничтоженъ,  
То ревностью не ниже я другихъ.  
Заботливо храня твою свободу,  
Непосвященныхъ я къ тебѣ не звалъ,

И рабскому ихъ буйству я въ угоду  
Твоихъ рѣчей не осквернялъ.  
Все та же ты, завѣтная святыня,  
На облакѣ, незримая землѣ,  
Въ вѣнцѣ изъ звѣздъ, нетлѣнная бо-  
гиня,  
Съ задумчивой улыбкой на челѣ.

Какъ шиллеровъ пѣвецъ при раздѣлѣ міра, нашъ поэтъ взялъ на свою долю частицу неба — идеальное созерцаніе жизни, лирическое къ ней отношеніе.



природу не столько въ ея грозныхъ знаменіяхъ, сколько въ обыденныхъ явленіяхъ — въ мирной тишинѣ зимы, въ шумномъ весеннемъ расцвѣтѣ, въ замираніяхъ вечерняго свѣта, въ переливахъ ночного мрака. Если исключить Тютчева, ни у кого изъ нашихъ поэтовъ нѣтъ такого обилія картинъ природы, и никто, быть можетъ, не потратилъ столько роскоши и пестроты красокъ на ея изображеніе. Фетъ былъ уроженцемъ южной Великороссіи, и именно природу этой великорусской украины, черноземной земледѣльческой полосы, видимы мы въ его стихахъ. Правда, многія изъ его картинъ слишкомъ причудливы или туманны, но никогда не являются онѣ только описаніями. Набрасывая черты реального міра, Фетъ въ то же время уловляетъ тѣ мимолетныя впечатлѣнія, которыя оставляютъ эти явленія въ душѣ человѣка. Живописецъ не въ состояніи будетъ передать поэтическіе образы Фета на полотнѣ, но въ душѣ читателя они вызовутъ то же настроеніе, изъ котораго они возникли въ фантазіи самого поэта. Въ одной изъ повѣстей Тургенева очень тонко передано впечатлѣніе, производимое поэтическими картинами Фета. «Помните ли вы, — пишетъ герой повѣсти къ знакомой ему молодой дѣвушкѣ, — помните вы, какъ однажды мы, стоя на дорогѣ, увидѣли облачко розовой пыли, поднятой легкимъ вѣтромъ противъ заходящаго солнца? «Облакомъ волнистымъ» начали вы, и мы всѣ тотчасъ притихли и стали слушать:

Облакомъ волнистымъ  
Пыль встаетъ въ дали...  
Конный или пѣшій —  
Не видать въ пыли,

Вижу, кто-то скачетъ  
На лихомъ конѣ...  
Другъ мой, другъ далекій,  
Вспомни обо мнѣ!

«Вы замолкли... Мы такъ и вздрогнули всѣ, какъ будто дуновение любви промчалось по нашимъ сердцамъ, и каждаго изъ насъ — я въ томъ увѣренъ — неотразимо потянуло въ даль, въ ту неизвѣстную даль, гдѣ призракъ блаженства встаетъ и манитъ среди тумана».

Конечно, Тургеневъ примѣнилъ фетовскій мотивъ къ своей темѣ; пусть даже воображеніе романиста нѣсколько дополнило легкій набросокъ поэта; но сущность впечатлѣнія схвачена все-таки вѣрно. Пѣсни Фета, съ ихъ теплотою чувства, съ ихъ томною мечтательностью, облеченною въ пестрые, не всегда отчетливые образы, дѣйствительно способны возбуждать въ читателѣ это мирное, свѣтлое, нѣсколько грустное чувство; можно забыть и стихи пьесы и подробности ея содержанія, впрочемъ, обыкновенно несложнаго, но вынесенное впечатлѣніе надолго остается въ душѣ, какъ въ слухѣ — впечатлѣніе внезапно раздавашагося и постепенно замершаго звука. Въ искусствѣ производитъ этотъ особый родъ поэтическаго впечатлѣнія Фетъ имѣлъ у насъ только одного предшественника, тоже поэта-мечтателя, автора «Золовой арфы».

Какъ во взглядѣ на природу есть у Фета отгѣнокъ античнаго воззрѣнія, такъ и въ изображеніи человѣческихъ чувствъ. Древній

ваятель представилъ могучаго Геркулеса отдыхающимъ послѣ тяжелаго подвига, который требовалъ чрезвычайнаго напряженія физической силы; такъ и поэзія Фета избѣгаетъ изображать страсти въ моментъ сильной нравственной борьбы. Она знаетъ сердечное влеченіе лишь въ его робкомъ, первичномъ видѣ, или напротивъ того, въ пору пережитаго страданія, какъ свѣтлое воспоминаніе о невозвратно минувшемъ счастьи. Въ этомъ выборѣ для изображенія моментовъ любви нашъ поэтъ рѣзко отличается отъ Пушкина и Лермонтова, поэтовъ страсти кипучей, трагической, и опять сближается съ Жуковскимъ, при той, однако, разницѣ, что у Жуковского больше сосредоточенности въ самомъ чувствѣ, тогда какъ у Фета ярче краски и образы.

Вообще говоря, русская поэзія мало повліяла на Фета; гораздо больше онъ обязанъ своимъ развитіемъ Гёте, какъ лирику, и римскимъ поэтамъ, которыхъ онъ любилъ переводить. Отъ нихъ Фетъ унаслѣдовалъ воззрѣнія на искусство и отчасти приемы творчества. Быть можетъ, слѣдуетъ пожалѣть, что онъ не научился у нихъ большей строгости въ своемъ художественномъ трудѣ и потому нерѣдко оставался только импровизаторомъ. Но не отъ своихъ учителей взялъ онъ силу лиризма: это — его неотъемлемая собственность.

Обыкновенно называютъ поэзію нашего лирика проникнутою чувствомъ свѣтлой радости. Такое опредѣленіе едва ли справедливо; по крайней мѣрѣ, слѣдуетъ признать его одностороннимъ. Правда, въ поэзіи Фета не слышно звуковъ негодованія и озлобленія, — зато ей далеко не чужды звуки глубокой скорби, душевнаго страданія отъ житейскихъ невзгодъ. Какъ для всякаго чуткаго сердцемъ человѣка нѣтъ радости безъ печали, такъ и въ поэзіи Фета свѣтлое чувство соединяется съ горькимъ въ свободномъ гармоническомъ сочетаніи; эта-то примирительная гармонія, вызывающая, по выраженію поэта, «плѣнительные сны на яву», и даетъ поэзіи Фета нравственный, гуманный смыслъ:

На землю сносить эти звуки  
Не бурю страшную, не вызовы къ борьбѣ,  
А исцѣленіе отъ муки!

*Майковъ.*

### **Непосредственное художественное настроеніе поэзіи Фета, какъ глѣнца вѣчнаго значенія истинной поэзіи.**

Поэзія Фета представляетъ въ цѣломъ вполне ясный и законченный урокъ эстетики. Трудно найти поэта, у котораго въ огромной массѣ написанныхъ имъ за долгую и плодотворную жизнь произведеній въ такой чистотѣ и ясности, и въ большемъ и въ самыхъ мелкихъ деталяхъ, было бы выдержано до конца чисто-эстетическое, чуждое всякой утилитарности и разсудочности, всякой тенденціозности

и дѣланности, безкорыстное и непосредственно-художественное настроеніе. Трудно найти поэта, произведенія котораго были бы такъ прозрачно-ясны и живы для безкорыстно настроеннаго къ *созерцанію* красоты чувства, и въ то же время — такъ мало мотивированы для разсудка, съ его корыстными и односторонними точками зрѣнія и критеріями, такъ таинственно загадочны для него, непонятны. Вся поэзія Фета, съ начала и до конца, есть непрестающій, восторженный порывъ изъ міра разсудка, его корыстныхъ заботъ и нуждъ, его сомнѣній, безтолковой злобы и суеты ради ничтожныхъ полезностей, — въ міръ чистаго, безкорыстнаго, ничѣмъ не затемненнаго созерцанія вѣчной красоты. Основнымъ среди наиболѣе часто повторявшихся и наиболѣе удачно выливавшихся у него въ столь же музыкальный, какъ и ясный стихъ мотивовъ, является именно этотъ порывъ изъ міра корысти, пользы и разсудка въ міръ свѣтлаго, безкорыстнаго созерцанія.

Нельзя заботы мелочной  
Хотя на мигъ не устыдиться,

Нельзя предъ вѣчной красотой  
Не пѣть, не славить, не молиться.

Предъ этой созерцаемой и *только* созерцаемой красотой умолкаютъ въ поэтѣ всѣ личныя похоти и влеченія:

Что же тутъ мы, или счастье наше,

восклицаетъ онъ,

Какъ и помыслить о нихъ не стыдиться;  
Въ блескѣ, какого нѣтъ шире и краше,  
Нужно безумствовать или смириться.

Въ этомъ блаженномъ міровомъ созерцаніи, поэтъ перестаетъ жить *своею* маленькой, узко-себялюбивой жизнью. Онъ живетъ и радуется полнотѣ и совершенству жизни вмѣстѣ со всѣмъ, что живетъ въ его созерцаніи. Онъ можетъ искренно *радоваться* за облако, тому, что оно такъ легко и прозрачно.

О! Какъ мнѣ весело слѣдить  
За пышнымъ дымомъ тучъ сквозныхъ;

И радъ я, что не можеть быть  
Ничто вольнѣй и легче ихъ.

Передъ этой свѣтлой радостью за полноту и красоту созерцаемой жизни, съ которою поэтъ всецѣло *сливается* своею очищенной отъ всего себялюбиваго и мелкаго душою, неудержимо открываются всѣ глубины и тайники этой души. Она не можеть не высказаться, «не пѣть, не славить, не молиться». Можно ли яснѣе выразить это творчески-возбуждающее вѣяніе безкорыстнаго созерцанія, лучше выдать тайну творчества поэта, какъ въ пьесѣ:

Молчали листья, звѣзды рдѣли,  
И въ этотъ часъ  
Съ тобой на звѣзды мы глядѣли,  
Онѣ — на насъ.

Когда все небо такъ глядится  
Въ живую грудь.  
Какъ въ этой груди затаятся  
Хоть что-нибудь?

Все что хранить и будить силу  
 Во всемъ живомъ,  
 Все, что уносится въ могилу  
 Отъ всѣхъ тайкомъ,

Что чище звѣздъ, пугливѣй ночи,  
 Страшнѣе тьмы,  
 Тогда, взглянувъ другъ другу въ очи,  
 Сказали мы.

Не себя, не свои задачи любить поэтъ, не торжество своего личного счастья поетъ онъ въ своей лучезарной пѣснѣ, а блаженство самаго этого откровенія счастья и красоты въ озаряющемъ мѣрѣ безкорыстномъ созерцаніи. Оно, это свѣтлое откровеніе, эта безпользная радость — для него самое драгоценное сокровище жизни. Уходя изъ нея, онъ говоритъ:

Не жизни жаль, съ томительнымъ дыханьемъ,  
 Что жизнь и смерть? А жаль того огня,  
 Что просіялъ надъ цѣлымъ мірозданьемъ;  
 И въ ночь идетъ, и плачетъ, уходя».

Созерцать красоту и безкорыстно радоваться ей — вотъ въ чемъ высшее счастье, со всякимъ страданіемъ, со всякой утратой примиряющее (см., напримѣръ, стихотвореніе «Прожніе звуки съ былымъ обаяньемъ», одно изъ многихъ въ этомъ духѣ), — и пѣть объ этой красотѣ — единственное священное призваніе поэта. Таковъ смыслъ очень многихъ изъ лучшихъ стихотвореній покойнаго Фета. Къ этой темѣ онъ особенно часто и любовно возвращается, частію клеймя измѣняющихъ этому безкорыстному служенію красотѣ стихотворцевъ (напримѣръ «Псевдо-поэту» или конецъ «Къ памятнику Пушкина»), частію воспѣвая блаженство этого служенія, какъ, напримѣръ, въ пьесѣ «*Quasi una fantasia*». Въ немъ поэтъ видитъ единственный исходъ изъ полной горечи и безысходной муки жизни себялюбивой, непричастной безкорыстному созерцанію за всѣми мелкими личными заботами и страстями личности. Стихотвореніе «Муза» заключается словами:

Къ чему противиться природѣ и судьбѣ?  
 На землю сносятъ эти звуки  
 Не бурю страстную, не вызовы къ борьбѣ,  
 А исцѣленіе отъ муки.

Нельзя быть дальше отъ какой-либо тенденціозности, отъ служенія какимъ-либо маленькимъ, преходящимъ задачамъ своего времени и общества, чѣмъ эта поэзія, о которой Фетъ самъ говоритъ въ предисловіи къ III выпуску *Вечернихъ Огней*: «мы постоянно искали въ поэзіи единственнаго убѣжища отъ житейскихъ скорбей, въ томъ числѣ и «гражданскихъ». Этимъ объясняется и извѣстная многолѣтняя вражда нашей утилитарно-тенденціозной критики въ поэзіи Фета. Но отсюда же происходитъ и не эфемерное, не мимолетное значеніе этой поэзіи, всего менѣе злободневной. Ея мотивы — вѣчные и общечеловѣческіе, но не мотивы того или другого общественнаго строя, того или иного направленія стремленій времени, его утилитарныхъ, маленькихъ задачъ и упованій. Звучащій во всѣхъ пѣсняхъ поэта

призывъ къ созерцанію вѣчной красоты, къ безкорыстной радости полнотой и глубиной общей, міровой жизни, для всѣхъ вѣковъ, обществъ и людей *равно* понятенъ или непонятенъ, родствененъ и дорогъ или чуждъ и незначащъ. Его поэзія всегда встрѣтитъ горячій привѣтъ и возбудитъ искренніе восторги вездѣ, гдѣ есть *художественное настроеніе*. Но она останется непонятою и осмѣянною всюду, гдѣ этого настроенія нѣтъ, гдѣ изъ души человѣка вытравлено все благородное и безкорыстное, все незагрязненное личною страстью, похотью или расчетомъ. Она вѣчна такъ же, какъ вѣчна въ человѣкѣ способность хотя на мгновенія становиться вполне *благороднымъ* и великодушнымъ, забывая о личной корысти, личномъ торгашескомъ расчетѣ и похоти. Она болѣе чьей-либо другой поэзіи заслуживаетъ названіе поэзіи чисто художественнаго настроенія, — не образа, не мысли, не страсти, а именно *настроенія*.

По силѣ и законченности образовъ, точно вычеканенныхъ или изваянныхъ, такъ же какъ и по значительности вложенной въ нихъ мысли произведенія Фета, конечно, уступаютъ произведеніямъ А. Н. Майкова. Уступаютъ они, по широтѣ и глубинѣ философскаго (не всегда, впрочемъ, яснаго) отношенія къ міру и жизни, произведеніямъ графа А. К. Толстого. Нѣтъ въ нихъ и задорнаго, здороваго и «здоровеннаго» юмора А. Толстого и Я. П. Полонскаго и ихъ густыхъ и яркихъ красокъ. Но больше чѣмъ у кого-либо изъ этихъ его сверстниковъ, цѣльнѣе, непосредственнѣе и выдержаннѣе, чѣмъ у нихъ, выражается въ произведеніяхъ покойнаго А. Фета основное поэтическое, чуждое и разсудочности и бурной страсти, безкорыстное, созерцательное настроеніе. Въ немъ, а не въ идеяхъ, образахъ или страстяхъ, вся своеобразная сила и чарующая прелесть поэзіи Фета. Въ этой же отличительной чертѣ ея, ставящей многія изъ его произведеній почти на грани, отдѣляющей музыку отъ поэзіи, отъ созданія разсудочно яснаго и точнаго слова, объясненіе такъ понятнаго каждой живой душѣ восклицанія поэта:

О, если бъ безъ слова  
Сказаться душѣ было можно!

Благодаря этой чертѣ именно, поэзія Фета и умѣетъ такъ ярко и въ то же время неожиданно освѣщать намъ такія глубины нашей духовной жизни, о которыхъ мы ранѣе и не догадывались. Никто изъ нашихъ современныхъ поэтовъ не выразилъ этой особенности поэзіи Фета лучше, чѣмъ наиболѣе родственнѣйшему ему по характеру своего таланта К. Р., авторъ сонета:

Есть помыслы, желанья, и стремленья,  
И есть мечты въ душевной глубинѣ;  
Не выразить словами ихъ значенья,  
Невѣдомы таятся въ насъ онѣ.  
Ты понялъ ихъ: ты вылилъ въ пѣснопѣнья  
Тѣ звуки, что въ безгласной тишинѣ

Плѣняютъ насъ, — тѣ смутныя видѣнья,  
 Что грезятся лишь въ мимолетномъ снѣ.  
 Могучей силой творческаго духа  
 Постигнувъ все, неслышное для уха,  
 Ты угадалъ незримое для глазъ.  
 И сами мы тѣхъ сердца струнъ не знали,  
 Что въ сладостномъ восторгѣ трепетали,  
 Когда, чаруя, пѣснь твоя лилась.

Въ той же чертѣ, между прочимъ, и много проливающего свѣта на самый процессъ художественнаго творчества, — процессъ столь таинственный, недоступный ни вдохновленному прозрѣнію самого поэта ни кропотливому анализу ученаго критика или психолога.

Ни у одного изъ современныхъ поэтовъ не выступаетъ наружу съ такою ясностью и опредѣленностью *непосредственный* моментъ художественнаго творчества, какъ въ поэзіи Фета. Конечно, всякое истинное творчество, всякая дѣйствительная поэзія коренятся въ непосредственномъ вдохновеніи, въ актѣ, чуждомъ какого-либо анализа и расчитанности логическаго построенія. Но у другихъ поэтовъ этотъ моментъ непосредственнаго во всемъ творческомъ процессѣ, заслуживаемый слишкомъ опредѣленною законченностью образа, яркостью изображенія страсти или содержаніемъ мысли, только *угадывается*; чувствуется въ основѣ всего произведенія, какъ его скрытое, внутреннее единство. У Фета этотъ моментъ ясно выступаетъ наружу именно потому, что его поэзія — не поэзія образа, страсти или мысли, но поэзія *настроенія*, для проявленія котораго *всякій* образъ, всякая мысль, всякая страсть составляютъ только *поводы*, — не больше. Фету было дано выразить въ своихъ стихотвореніяхъ то, выраженіе чего составляетъ, повидимому, удѣлъ исключительно одной музыки, — настроеніе (благоговѣйное, молитвенное, свѣтлое, ласкающее, угнетенное и т. п.) *само по себѣ*, въ его чистомъ существѣ, независящемъ отъ того или другаго частнаго, случайнаго повода, для котораго *все* можетъ одинаково служить поводомъ. Благодаря этому центральному интересу настроенія въ лирикѣ Фета, его стихотворенія часто открываютъ нестрѣчающіеся у другихъ поэтовъ въ такомъ обилии и ясности просвѣты въ таинственную область безсознательнаго творческаго процесса. Мы какъ бы становимся участниками и свидѣтелями его. Не ясенъ ли этотъ таинственный процессъ, напримѣръ, въ пьесѣ:

Облакомъ волнистымъ  
 Пыль встаетъ вдали;  
 Пѣшій или конный —  
 Не видать въ пыли.

Вижу: кто-то скачетъ  
 На лихомъ конѣ...  
*Другъ мой, другъ далекій,*  
*Вспомни обо мнѣ.*

Поэтъ не *задумываетъ* здѣсь своей пѣсни, но мы видимъ, какъ она въ его душѣ зарождается. Это зарожденіе составляетъ нерѣдко и самый предметъ изображенія. Такъ, напримѣръ:

Я долго стоялъ неподвижно,  
 Въ далекія звѣзды вглядясь, —  
 Межъ тѣми звѣздами и мною  
 Какая-то связь родилась,

Я думалъ... не помню, что думалъ,  
 Я слушалъ таинственный хоръ,  
 И звѣзды тихонько дрожали,  
 И звѣзды люблю я съ тѣхъ поръ.

Или въ прелестномъ стихотвореніи «На стогѣ сѣна, ночью южной», или всѣмъ извѣстномъ:

Я пришелъ къ тебѣ съ привѣтомъ  
Разказать, что солнце встало,  
Что оно горячимъ свѣтомъ  
По листьямъ затрепетало...

Кончающемся —

Разказать, что отовсюду  
На меня весельемъ вѣетъ,  
*Что не знаю самъ, что буду*  
Пить, но только пѣсня зрѣть.

Въ этихъ и подобныхъ имъ стихотвореніяхъ, — а ихъ много у Фета, — конечно, глубже и яснѣе выражается поэтическое настроеніе, въ самомъ существѣ его, чѣмъ въ другихъ, хотя бы и блещущихъ большею яркостью и законностью образа, какъ, напр., въ его (Ракетѣ):

Горѣлъ напрасно я душой,  
Не озаряя ночи черной;  
Я лишь вознесся предъ тобой  
Стезю шумной и пророчной.

Лечу на смерть, вослѣдъ мечтѣ!  
Знать, мой удѣлъ — лелѣть грѣзы,  
И тамъ со вздохомъ въ высотѣ,  
Разсыпать огненные слѣзы.

И подобныя послѣднему стихотворенію, несомнѣнно, *возможные* по незнанію приписать какому-либо другому хорошему поэту, чѣмъ, напр., «Я пришелъ къ тебѣ съ привѣтомъ», которое могъ написать одинъ А. Фетъ, поэтъ настроенія, и никто другой.

Начало всякаго творческаго процесса, образующаго во внутренно связанное, органическое единство рядъ разбросанныхъ мыслей, красокъ, звуковъ, картинъ и впечатлѣній, коренится въ бессознательной душевной работѣ. Это начало, — будь оно идея, или настроеніе, или образъ, — *непосредственно* воспринимается сознаніемъ художника изъ той глубины бессознательнаго, гдѣ оно въ «безгласной тишинѣ» зародилось. Оно *руководитъ* его дальнѣйшею, уже сознательною работой, но само не построяется намѣренно его сознаніемъ, не *придумывается* имъ. Творческій процессъ въ своемъ основаніи и бессознателенъ и произволенъ.

Изъ этого обстоятельства нѣкоторые эстетики дѣлаютъ въ наше время дальнѣйшій выводъ, что такъ какъ художественное творчество, — а все, что говорится о немъ приложимо и ко всякому *творчеству*, и философскому и даже научному — и бессознательно и произвольно, то — значитъ — оно и *безлично*. Дѣло представляють такъ, что творческія идеи какъ-то зарождаются въ безличной, бессознательной жизни духа и оттуда, при наличности извѣстныхъ условій, пробиваются, всплываютъ въ личное сознаніе того или другого мыслителя, поэта и т. п. Послѣдній со своимъ индивидуальнымъ, личнымъ складомъ мысли и чувства представляется здѣсь

лишь *проводникомъ, органомъ* для проявленія идей и настроеній, сложившихся внѣ и независимо отъ его личной, сознательной жизни. Онъ представляется какъ бы клапаномъ, въ который произвольно вырываются отголоски какой-то общей, безличной духовной жизни, совершающей неуклонно по собственнымъ желѣзнымъ неизмѣннымъ законамъ свою роковую эволюцію. Личность художника или мыслителя по этому взгляду — не при чѣмъ въ процессѣ его творчества, а его творческія созданія — лишь независящіе отъ личной воли моменты проявленія какой-то роковой эволюціи, которая тѣмъ или другимъ путемъ *должна* совершиться до конца, *должна* проявиться во всѣхъ своихъ главныхъ моментахъ. И произведение творчества и творческая личность здѣсь представляются только *моментами* въ эволюціи, лишенными какого-либо самостоятельнаго, неизмѣннаго, вѣчнаго значенія и достоинства. Нѣтъ поэтому ни вѣчныхъ, безусловно прекрасныхъ, не умирающихъ созданій генія, ни вѣчныхъ геніевъ: все это лишь историческіе моменты.

Мы думаемъ, что подобный взглядъ на значеніе творческой личности и ея геніальныхъ созданій совершенно лишенъ оснований. Безсознательность и произвольность творческаго процесса вовсе не равнозначаща его безличности. Та безсознательная душевная жизнь, изъ которой сознание поэта или мыслителя заимствуетъ свою творческую, образующую, объединяющую идею, вовсе не есть какая-то *безличная* жизнь, роковымъ и непостижимымъ образомъ совершающаяся за спиной личнаго сознанія и послѣднему совершенно чуждая. Если мы не желаемъ, ради излюбленнаго понятія о какой-то безплотной и роковой, неизбежно захватывающей въ свой потокъ всякую личную мысль и чувство эволюціи, впасть въ своего рода *научную мистику*, — то безсознательная душевная жизнь представится намъ не чѣмъ-то роковымъ для жизни личнаго сознанія, но всецѣло послѣднею *обусловленнымъ*, столь же *личнымъ*, какъ и жизнь сознанія. Что, въ самомъ дѣлѣ, знаемъ мы *подлинно* о безсознательной душевной жизни, что въ ея области находимъ? Ничего, кромѣ *слѣдовъ*, тѣхъ актовъ, впечатлѣній, чувствъ, представленій, сужденій и т. п., которые были нѣкогда пережиты, продуманы и прочувствованы *сознательно*. Ничего, кромѣ, такъ сказать, капитализаціи всѣхъ предшествующихъ сознательныхъ работъ и состояній души. То, что никогда и никакъ не было пережито сознаніемъ, никогда не попадетъ и въ сферу безсознательной душевной жизни. Послѣдняя, по своему объему и полнотѣ содержанія, совершенно зависитъ отъ жизни сознанія, отъ богатства, ясности и разнообразія продуманныхъ *сознательно* мыслей, прочувствованныхъ чувствъ. Она столь же личная, своеобразная у каждаго, какъ и его сознательная жизнь. Но, переходя изъ сферы яснаго сознанія въ сокрытую для послѣдняго область безсознательнаго, становясь *слѣдами* пережитыхъ впечатлѣній, мыслей и чувствъ, эти мысли, впечатлѣнія и чувства въ своей новой, удаленной отъ вмѣшательства сознанія области,

вступаютъ въ *новыя сочетанія*. Они претерпѣваютъ существенныя *измѣненія*, доходящія до неузнаваемости ихъ для того самаго сознанія, въ которомъ они зародились и изъ котораго они когда-то ушли въ бессознательную область. Характеръ этихъ измѣненій, претерпѣваемыхъ въ глубинѣ бессознательной жизни нашей души слѣдами пережитыхъ ею сознательно впечатлѣній, мыслей и чувствъ, очень важенъ для яснаго пониманія значенія бессознательнаго момента въ художественномъ творествѣ. Именно этимъ характеромъ и объясняется *необходимость бессознательнаго* въ творествѣ, необходимость для творца *непосредственно* воспринимать изъ бессознательнаго свою творческую, образующую идею, а не логически построить ее по обдуманному, сознательному плану.

Для нашей цѣли здѣсь достаточно указать на *два* такія измѣненія въ сочетаніяхъ нашихъ впечатлѣній и мыслей, претерпѣваемые ими, когда они уходятъ изъ пережившаго ихъ сознанія и становятся достояніемъ бессознательнаго. Во-первыхъ, въ бессознательномъ, удаленномъ отъ свѣта сознанія, эти сочетанія становятся постепенно *все больше и больше слитными, меньше раздѣльными, расторгимыми*. Доказывать это положеніе нѣтъ надобности: всякій актъ воспоминанія, пережитаго нами когда-то, даетъ такое доказательство. На этомъ основано и постепенное образованіе всякой нашей привычки, всякаго навыка мысли и движенія (рѣчь, ходьба, письмо, игра на музыкальномъ инструментѣ). Все это — факты перехода такихъ сочетаній, которыя были въ сознаніи ясно раздѣльны и легко расторгимы, въ болѣе слитныя, нерасторгимыя, внутренне-объединенныя въ бессознательномъ. Въ послѣднемъ эти пережитыя когда-то сознаніемъ сочетанія пріобрѣтаютъ, такимъ образомъ, новую, недостававшую имъ еще въ сознательной жизни черту *внутренней организованности, крѣпкаго синтетическаго единства*, которое такъ существенно необходимо для идеи, чтобы она могла стать творческою, то-есть образующею, организующею, объединяющею огромныя массы представленій etc.

Во-вторыхъ же, эта синтетичность, эта нерасторгимая (какъ въ сознательныхъ сочетаніяхъ) слитность, пріобрѣтаемая въ области бессознательной душевной жизни сочетаніями переданныхъ ей изъ сознанія душевныхъ состояній, имѣетъ особый отпечатокъ *внутренней необходимости, неслучайности*. Этотъ отпечатокъ пріобрѣтаютъ сочетанія нашихъ мыслей, чувствъ и впечатлѣній въ бессознательномъ, именно посколькѣ они удалены отъ вмѣшательства сознанія, съ его произволомъ, случайностью его точекъ зрѣнія, измѣнчивыхъ заботъ и интересовъ, и т. п. Въ бессознательномъ *нѣтъ* этихъ случайныхъ заботъ, интересовъ и расчетовъ, постоянно занимающихъ и направляющихъ такъ или иначе работы сознанія, опредѣляющихъ въ разное время очень различно его отношенія къ своимъ впечатлѣніямъ, мыслямъ и чувствамъ. Въ бессознательномъ сочетаются они, поэтому, не въ силу этихъ измѣнчивыхъ, случайныхъ интере-

совъ и точекъ зрѣнія на нихъ, но единственно по своей собственной, *внутренней принадлежности*, не по внѣшнему плану, но по внутренней, органической необходимости. Мотивъ сочетанія душевныхъ состояній въ бессознательномъ, поэтому, мотивъ *безкорыстный*, неутилитарный, чуждый какихъ-либо внѣшнихъ и случайныхъ задачъ и соображеній, но лежащій въ самыхъ сочетающихся состояніяхъ, въ ихъ внутреннемъ значеніи. Сознаніе всегда корыстнѣе, утилитарнѣе бессознательнаго въ своихъ работахъ. Оно менѣе способно вполне отрѣшиться отъ озабочивающихъ его въ каждый моментъ его жизни измѣнчивыхъ заботъ и тревогъ, расчетовъ и ожиданій, надеждъ и страховъ. Все это придаетъ тѣмъ сочетаніямъ мыслей и впечатлѣній, которыя производятъ сознаніе, гораздо большую случайность, измѣнчивость и корыстность, чѣмъ какими отмѣчены сочетанія, слагающіяся въ бессознательномъ.

Такимъ образомъ, только въ бессознательномъ приобретаетъ *идея*, — конечный плодъ всей жизни личнаго сознанія, — качества *синтетичности* и независящей ни отъ какихъ случайныхъ, измѣнчивыхъ соображеній, безкорыстной *внутренней необходимости*. А только обладая этими качествами, и становится она *творческой*, образующей идеєю и въ искусствѣ, и въ философіи, и въ наукѣ!

Сознаніе всегда въ какой бы то ни было мѣрѣ тенденціозно и утилитарно. Его отношеніе къ доставляемымъ ему потокомъ жизни впечатлѣніямъ, представленіямъ и задачамъ, всегда болѣе или менѣе односторонне, опредѣлено случайными, измѣнчивыми заботами, условіями настоящей минуты. Продукты его работъ, — его идеи и чувства, — должны *очиститься* отъ этой случайности, тенденціозности, разсудочной произвольной односторонности измѣнчивыхъ точекъ зрѣнія сознанія, для того чтобъ освобожденная отъ этого искажающаго налета идея приобрѣла внутреннее единство, творческую законченность и мощь. Это-то *очищеніе* и совершается надъ ними въ глубинахъ бессознательной жизни, удаленныхъ отъ свѣта сознанія и вмѣшательства его произвола и его утилитарнаго, односторонняго анализа. Только выношенная, долго созрѣвшая въ той далекой отъ всякой тенденціи, корысти и разсудочнаго анализа области, становится идея внутренне-единой синтетичной и способной быть началомъ синтетической работы духа. А такова всякая *творческая* работа его, въ искусствѣ ли, или въ философіи, или даже въ наукѣ.

Но для того, чтобъ это совершилось, и творческій актъ дѣйствительно состоялся, необходимы, очевидно, еще два условія. Нужно, во-первыхъ, чтобы жизнь сознанія доставляла матеріаль, сколько-либо *годный* для той глухой, подземной синтезирующей въ бессознательномъ работы души. Нужно, чтобы самыя впечатлѣнія, мысли, переходящія изъ сознанія въ область бессознательнаго, имѣли какую-либо *внутреннюю* значимость, не были всецѣло *только* средствами сознанія для удовлетворенія его насущныхъ, эгонетическихъ нуждъ и потребностей минуты. Душа, которая въ своей вседневной созна-

тельной жизни всецѣло, безраздѣльно поглощена этими себялюбивыми и случайными нуждами и заботами, для которой все ея впечатлѣнія и мысли суть только указанія, какъ ей удобнѣе въ данныхъ условіяхъ удовлетворить свои преходящія похоти, — никогда не увидитъ ни въ мірѣ ни въ людяхъ ничего, кромѣ годныхъ или негодныхъ средствъ для своихъ случайныхъ цѣлей. Она никогда и ни къ чему не относится неутилитарно, созерцательно, никогда ничего не стремится *понять*, ограничиваясь только тѣмъ, что всемъ, по возможности, *пользуется*. Ничего цѣннаго, имѣющаго внутреннее значеніе, и не можетъ дать сознательная работа такой души для ея бессознательной жизни. Никакой творческой идеи въ такой душѣ никогда не зародится и въ бессознательномъ. Она — бесплодна и въ искусствѣ, и въ философіи, и въ наукѣ. Ея мѣсто, словами нашего поэта, обращенными къ Пушкину:

На этомъ торжищѣ, гдѣ гамъ и тѣснота,  
Гдѣ здоровый русскій смыслъ примолкъ, какъ сирота,  
Всеѣхъ громогласнѣй тать, убійца и безбожникъ,  
Кому печной горшокъ всеѣхъ помысловъ предѣль,  
Кто плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горѣлъ,  
Толкать дерзая твой незыблемый треножникъ.

Но если самое *зарождение* творческой, синтетической идеи не доступно тѣмъ, кто никогда въ сознательной жизни своей ни къ чему не относится безкорыстно, созерцательно, для кого тенденція, полезность, «печной горшокъ всеѣхъ помысловъ предѣль», то не менѣе необходимо безкорыстно-созерцательное, настроеніе души и для того, чтобы чутко *воспринять* изъ бессознательнаго и *выразить* въ словѣ, образѣ эту идею, когда она уже созрѣла. Необходимо, чтобъ и въ моментъ творческаго акта, въ моментъ воспріятія рвущейся наружу изъ бессознательнаго идеи, сознание художника и мыслителя не заглушало и не искажало ея, а беззавѣтно и покорно отдавалось ей. Необходимо, чтобъ оно въ этотъ моментъ совершенно отрѣшилось отъ всего, что не самое созерцаніе, не самая мысль, отъ всеѣхъ назойливо тѣснящихся въ него корыстныхъ заботъ, расчетовъ, тенденцій. Необходимо, чтобы носитель творческой идеи въ этотъ рѣшающій его творческое дѣло моментъ былъ настроенъ безусловно безкорыстно, *празднично* и благородно, забывъ и о себѣ и обо всей мелочной злобѣ и суетѣ своей жизни, обо всемъ, что не безкорыстное созерцаніе и не мысль. Это-то не будничное, только благороднымъ и могучимъ душамъ доступное, божественное своей полною безкорыстностью настроеніе и есть состояніе *вдохновенія*, — состояніе, способность къ которому въ полномъ объемѣ есть исключительный даръ неба, создающій творческіе гени.

Можно констатировать наличность этого дара въ томъ или другомъ случаѣ и понять его необходимость для творческаго акта, но и только! *Объяснить* его изъ какихъ-либо общихъ или личныхъ причинъ, изъ роковой ли потребности таинственной безличной эво-

люціи, выразиться въ комъ бы то ни было творческимъ актомъ, или изъ особенностей индивидуальнаго темперамента, атавизма и т. п., совершенно невозможно. Безъ него — нѣтъ генія, но это самого его ничуть не объясняетъ! Не объяснять его и нужно для того, чтобы наслаждаться его твореніемъ и стать причастнымъ его духовной просвѣтленности, но понять его значеніе и — преклониться предъ нимъ.

Ученіе фаталистически совершающейся безличной эволюціи, для котораго и геніальная личность и геніальное произведеніе не имѣютъ собственнаго, внутренняго и вѣчнаго, неумирающаго значенія, но суть лишь логически необходимые моменты естественнаго или діалектическаго міроваго процесса, упраздняетъ всякое такое преклоненіе. Это — своего рода удобство теоріи, привлекающей къ себѣ, между прочимъ, и своею нивеллирующей личности демократичностью. Вѣдь и для того, чтобы поклоняться чему-нибудь, нужно извѣстное умѣніе, нужна нѣкоторая способность испытывать безкорыстное, несебялюбивое и неутилитарное настроеніе, нужна нѣкоторая, не всѣмъ доступная, степень душевнаго благородства! Звѣри ничему, вѣдь не поклоняются, кромѣ страха и пользы. Но именно предъ неоспоримыми *фактами* вполне безкорыстнаго душевнаго настроенія, созерцательнаго отношенія къ міру, людямъ и жизни, вдохновенія, предъ ихъ свойственностью только немногимъ исключительнымъ, благороднѣйшимъ личностямъ, эта теорія безличной эволюціи и должна отступить. Если бъ ей и удалось даже какъ-нибудь объяснить эти, отмѣчающіе геніальную личность, факты изъ какихъ-нибудь общихъ, безличныхъ причинъ, то все же обладаніе этимъ такъ или иначе сложившимся настроеніемъ, вдохновеніемъ, этимъ душевнымъ благородствомъ, выносить ихъ обладателя изъ потока эволюціи и возносить надъ нимъ. Они освобождаютъ избранника, ими обладающаго (или *обладаемаго* — все равно) отъ деспотическаго гнета условій среды, времени, господствующихъ тенденцій, предразсудковъ и интересовъ. Они дѣлаютъ его носителемъ независящихъ отъ этихъ условій интересовъ и предразсудковъ — идеаловъ истины и красоты. Они вырываютъ его и его созданія изъ положенія промежуточнаго звена въ цѣпи послѣдовательно смѣняющихся моментовъ развитія, придаютъ ему и его созданіямъ независящее отъ этого служебнаго положенія вѣчное значеніе, столь же неумирающее, какъ неумирающа и сама истина и красота. Эволюціей и положеніемъ въ ней могутъ опредѣлиться смыслъ и достоинство тѣхъ или другихъ смѣняющихся интересовъ, формъ быта и дѣятельности, но не самыя незнающія времени истина и красота. Если *есть* онѣ, то *есть* и геніальныя личности и геніальныя произведенія, имѣющія сами по себѣ и навѣки остающееся незыблемымъ значеніе.

Такое вѣчное значеніе принадлежитъ всякой истинной поэзіи, вылившейся изъ безкорыстнаго, чисто созерцательнаго, чуждаго всякой ограниченной тенденціи и *только потому и творческаго на-*

строения. Только оно освобождает его носителя отъ ограничивающихъ узъ его времени, среды, интересовъ и предразсудковъ. Принадлежитъ оно и поэзии Фета, которая полнѣе, яснѣе и цѣльнѣе другихъ создана именно этимъ настроеніемъ и его выражаетъ. Ею она собственно и поетъ, и славить, къ его блаженству и призываетъ всѣхъ, въ комъ есть потребность и сила очистить свою душу отъ всего будничнаго сора, отъ всей грязи и мелочной суеты жизни. Конечно, несмотря на господство въ его душѣ этого освобождающаго отъ всякой корысти, грязи и мелочности настроенія, и Фетъ, подобно всѣмъ смертнымъ, былъ дитя своей земли, своего времени и своей среды. Несомнѣнно, что хотя и «небожитель» по духу, онъ и покупалъ, и продавалъ, и торговался, и баллотировался, и читалъ современныя газеты, и принималъ лѣкарства, и стригъ волосы, и ходилъ въ баню и т. д., т. д. Но это было именно то дитя земли, съ душою котораго «по небу полуночи ангелъ летѣлъ», неся ея «для міра печали и слезъ» и напѣвая ей тѣ небесныя пѣсни, звуковъ которыхъ въ ней заглушить не могли скучныя пѣсни земли, какъ долго ни томилась она на землѣ, «желаніемъ чуднымъ полна». Блаженство и живительную мощь этого «чуднаго», безкорыстнаго желанія и выражаетъ *вся* поэзія Фета, и съ царственною щедростью расточаетъ ихъ въ души, алчущія свѣта и освѣжающей красоты среди сѣренькихъ сумерекъ вялой, душевной будничной жизни.

Только въ свѣтѣ этого блаженнаго безкорыстно-созерцательнаго настроенія, незатемняющаго мысли и чувства никакой мутью личной похоти, страсти и расчета, и могутъ представляться міръ и жизнь имѣющими *сами по себѣ* какой-либо смыслъ и значеніе, независимые отъ всякой случайной похоти и страсти. Только въ этомъ свѣтѣ и доступна человѣку какая-либо *объективная*, внутренняя, независящая отъ случайной для міра и жизни полезности ихъ для разныхъ мелкихъ и преходящихъ задачъ, истина, красота и правда бытія. Міръ, съ этой точки зрѣнія, неизбѣжно является *положительнымъ* выраженіемъ идеаловъ истины, красоты и правды. Безусловно, всецѣло отрицательное отношеніе къ бытію съ этой точки зрѣнія, единственной совмѣстной съ художественнымъ, философскимъ и научнымъ творчествомъ, рѣшительно невозможно. Такое отрицаніе пессимизма и нигилизма можетъ быть мотивировано лишь съ точки зрѣнія корыстной, себялюбивой пользы, наслажденія и т. п. отдѣльнаго существа, болѣе страдающаго, чѣмъ наслаждающагося, никогда не успѣвающаго достигнуть своихъ ограниченныхъ цѣлей, — но не съ точки зрѣнія на міръ, какъ на само по себѣ значащее цѣлое. Истинное искусство, какъ и истинная философія и наука, по существу своему безкорыстны, а потому и не могутъ быть пессимистичны. *Примиреніе* со всѣми скорбями, тяготами, разладомъ и мукою личной жизни во имя объективной, вѣчной истины, красоты и правды — вотъ неизбѣжный плодъ всякой истинной поэзіи, философіи и науки. Пессимизмъ имъ чуждъ просто потому, что его основаніе — въ ко-

*рыстной* оцѣнкѣ своего бытія съ точки зрѣнія индивидуальнаго страданія и наслажденія, — точки зрѣнія, отрицающей у этого бытія объективное значеніе — значеніе его самого по себѣ, безотносительно къ пользамъ особи. Истинный поэтъ, а такимъ былъ Фетъ, несомнѣнно, *не можетъ быть* пессимистомъ.

Собственно говоря, единственнымъ, до конца послѣдовательнымъ пессимистомъ нашего вѣка, былъ одинъ Ю. Банзень. Но онъ, рѣшительно признавъ безысходную *нелпность* бытія, послѣдовательно призналъ и нелѣпость, зло и неразуміе всякаго искусства и философіи, всякаго *безкорыстнаго* созерцанія вообще. И искусство и философія для него являются, вполне послѣдовательно, только лишнимъ обманомъ, лишнимъ источникомъ безцѣльнаго и бессмысленнаго страданія въ жизни (*Aristoteles, oder uber das Gesetz der Geschichte*). Другіе философствующіе пессимисты, въ родѣ Шопенгауэра и Гартмана, только непослѣдовательны, признавая пессимизмъ и въ то же время не отрицая безкорыстнаго эстетическаго и философски-научнаго созерцанія. Если они видятъ въ этомъ безкорыстномъ созерцаніи только источникъ единственнаго необманчиваго, хотя и весьма немногимъ и лишь на рѣдкія мгновенія доступнаго *наслажденія* въ нашей жизни, гдѣ все остальное — только невыносимо-мучительная иллюзія, — то они упускаютъ изъ вида гораздо болѣе существенную сторону безкорыстнаго созерцанія. Они упускаютъ изъ виду, что и эстетическое и философское созерцаніе свидѣтельствуютъ человѣку не только о нѣкоторомъ временно-испытываемомъ *имъ самимъ* личномъ наслажденіи, успокоеніи отъ мукъ и тревогъ жизни, — но и о независимомъ отъ этихъ мукъ, тревогъ и наслажденій собственномъ смыслѣ и значеніи бытія, — объ *объективной*, вѣчной истинѣ, красотѣ и правдѣ. Признавъ эстетическое и философское созерцаніе, необходимо признать въ бытіи и эту истину, эту красоту и правду. Но тогда уже невозможно отрицать у бытія самого по себѣ всякій положительный смыслъ и цѣнность. Дѣлая же послѣднее, признавая небытіе «выше, лучше и умнѣе бытія», — необходимо отказаться и отъ искусства и отъ философіи и науки, признавъ и ихъ за глупыя и вредныя иллюзіи. Пессимистъ-философъ или пессимистъ-поэтъ возможны, повторяемъ, только какъ недоразумѣнія, болѣзненные несовершенства чувства, мысли и воли.

Въ этомъ отношеніи поэзія А. А. Фета, совершеннѣйшаго пѣвца безкорыстнаго и положительнаго художественнаго настроенія въ наше время, особенно поучительна. Покойный поэтъ занимаетъ относительно пессимизма положеніе, которое было бы совершенно ясно для другого времени, но очень способно возбудить массу недоразумѣній въ людяхъ нашего времени, насквозь пропитанныхъ пессимистическими вѣяніями, приносящимися къ намъ вмѣстѣ съ воплями отчаянія новѣйшей агонизирующей культуры Запада. Безсознательно, незамѣтно для себя надышавшись этими нездоровыми вѣяніями, эти люди всюду ищутъ «пессимизма», при самыхъ даже положительныхъ

собственныхъ стремленійхъ, и всюду готовы его находить. Не только готовы они говорить, но и «ничтоже сумняся» говорятъ даже о какомъ-то «пессимизмѣ христіанства», совершенно забывая, что христіанство есть религія примиряющая, вносящая въ жизнь *положительный* смыслъ и цѣнность. Забываютъ, что пессимизмомъ зовется *только* ученіе безусловно-отрицательное, ученіе, что небытіе — выше и лучше бытія, а не одно простое признаніе несовершенствъ, страданія и зла нашей земной жизни, связанное съ стремленіемъ къ бытію лучшему и высшему. Пессимизмъ стремится не къ лучшему бытію, но къ *небытію*<sup>1)</sup>. Забываютъ, въ усердіи «не по разуму», что быть пессимистомъ, т. е. ставящимъ небытіе выше бытія, можетъ лишь тотъ, для кого бытіе есть продуктъ неразумныхъ, слѣпыхъ и глупыхъ (dumm, по выраженію Шопенгауэра) силъ или силы, какъ для материалистовъ, Шопенгауэра и Гартмана — но не для тѣхъ, для кого оно — созданіе высшаго и всеблагого Разума. Забываютъ, что безусловное отрицаніе положительнаго смысла бытія возможно лишь тамъ, гдѣ въ немъ не видятъ, какъ въ христіанствѣ, школы, подготовительной ступени къ иному, высшему, совершеннѣйшему бытію. Забываютъ, наконецъ, что пессимизмъ, основанный единственно на перевѣсѣ въ жизни страданія надъ наслажденіемъ, выше всѣхъ точекъ зрѣнія ставитъ точку зрѣнія себялюбія, корысти, — тогда какъ христіанское поклоненіе Богу прежде всего чистая, безкорыстная любовь<sup>2)</sup>. Забываютъ, словомъ — весь смыслъ современнаго пессимизма, состоящій въ отрицаніи всего безкорыстнаго и въ отрицаніи Бога, безбожій. И только поэтому легкомысленно и невѣжественно навязываютъ пессимизмъ (совпадающій съ нигилизмомъ, какъ у Ницше) даже христіанству!

Что же удивительнаго, если подумаютъ искать пессимизмъ даже въ чуждой и *враждебной* ему, свѣтлой, не проклинающей и не разрушающей, но благословляющей и славословящей Божіе твореніе поэзіи Фета?! Это тѣмъ соблазнительнѣе, что покойный отдалъ нѣкоторую дань вѣяніямъ своего времени, подчинившись отчасти вліянію философа, особенно вредно и широко повліявшаго на наше общество, благодаря своей, любезной всѣмъ дилетантамъ, непоследовательности, общедоступности и литературному блеску, — Шопенгауэра. Онъ не только перевелъ на русскій языкъ два главныя философскія сочиненія Шопенгауэра и усвоилъ основы его *эстетической теории* (самой здравой части всего ученія Шопенгауэра), но его ученіемъ вдохновлены даже нѣкоторыя (числомъ весьма, сравнительно),

<sup>1)</sup> Не можемъ не порекомендовать нѣкоторымъ изъ нашихъ писателей, вкривъ и вкось толкующихъ объ извѣстномъ имъ только по назлышкѣ пессимизмѣ, хотя развѣ дать себѣ трудъ узнать точное значеніе слова *пессимизмъ*, достаточно обстоятельно выясненное въ «Zur Geschichte und Begründung des Pessimismus» *E. Hartmann*, и «Der Pessimismus und seine Gegner» *Taubert*.

<sup>2)</sup> Совершеннѣйшая степень молитвы, по религіозному воззрѣнію, есть *slavie*, *slavie*, и только — низшая — испрошеніе себѣ помощи въ нуждѣ и утѣшенія въ скорби.

немногія) «Элегіи и думы» поэта въ первомъ выпускѣ его «Вечернихъ огней». Но, вчитываясь даже въ эти немногія пьесы, — за исключеніемъ трехъ-четырехъ, въ родѣ «Ничтожество», — мы находимъ никакъ не выраженіе дѣйствительнаго пессимизма, а, напротивъ, торжество *примиренія*, побѣду надъ всё ради корысти отрицающимъ пессимизмомъ чистаго, безкорыстнаго художественнаго созерцанія. Поверхностно замутивъ разсудочную жизнь поэта, безсильный что-либо создать теоретическій пессимизмъ не коснулся его свѣтлаго и могучаго творчества. Оно всюду, не изсякая, вноситъ положительный смыслъ и цѣнность, примиренность благородной души, способной безкорыстно радоваться, благословлять и поклоняться. Роль отголосковъ шопенгауэрова пессимизма въ поэзи Фета та же, какъ въ музыкальной каденціи роль уменьшенной септими, подготовляющей, задерживающей и тѣмъ только *яснѣе* отмѣчающей конечное гармоническое разрѣшеніе. Настоящій пессимизмъ ликуеть вмѣстѣ съ m-me Akkermaп, провидя возможность воскликнуть когда-нибудь:

Plus d'hommes sous le ciel; nous sommes les derniers! —

нашъ же поэтъ (въ пьесѣ «Никогда») только потому и возвращается въ покинутую могилу, что убѣдился, что все кругомъ уже вымерло, что

Куда итти, гдѣ некого обнять?

Конечно, не *пессимизмомъ* вдохновлены слова:

Пускай клянуть, волнуясь и споря,  
Пусть говорятъ: то бредъ души больной;  
Но я иду по шаткой пѣнѣ моря  
Отважною, нетонущей ногой.  
Я пронесу твой свѣтъ чрезъ жизнь земную;  
Онъ мой, — и съ нимъ двойное бытіе  
Вручила ты, и я, я торжествую  
Хотя на мигъ безсмертіе твое.

Или это заключеніе стихотворенія, прямо навѣяннаго Шопенгауэромъ и даже снабженнаго эпитафіомъ изъ него («измученъ жизнью, коварствомъ надежды»):

И этихъ грѣзъ въ міровомъ дуновеньи,  
Какъ дымъ, несусь я и таю невольно;  
И въ этомъ прозрѣньи и въ этомъ забвеньи  
Легко мнѣ жить и дышать мнѣ не больно.

И не только легко становится жить и «дышать не больно» поэту и его читателю въ этомъ прозрѣньи и забвеньи безкорыстнаго художественнаго настроенія, а въ немъ же — и единственная возможность намъ удрученнымъ рабамъ земной нужды и скорби, возвыситься духомъ и дѣломъ до сферъ вѣчной красоты, истины и правды. Въ немъ же — и неопѣненное, живительное доказательство человѣку его дѣйстви-

тельнаго *благородства*, его свободы отъ того унижающаго рабства. Напрасны будутъ и безсильны всѣ самые страстные и громкіе призывы стаднаго человѣчества подчинить свой духъ этому унижающему рабству тенденціи, пользы, корысти, отказавшись навѣки отъ какихъ-либо притязаній на благородство, на истину, красоту и правду, — пока у человѣчества останутся такія законченныя, свѣтлыя и свободныя проявленія духовной жизни, какъ поэзія Фета. Благородная и чистая въ своемъ источникѣ, прекрасная и правдивая въ своей формѣ и содержаніи, — поэзія эта неизбѣжно и всегда будетъ облагораживать, очищать и неотразимо обращать къ красотѣ и правдѣ всякую душу, которой коснутся ея лучезарные, только любовью, только торжествомъ жизни и молитвой звенящіе звуки. *Астафьевъ*.

### **Художественный даръ и тонкое поэтическое чувство, которыми запечатлѣны стихотворенія Фета.**

Признаемся, что, приступая къ сужденію о стихотвореніяхъ г. Фета, мы находимся въ большомъ затрудненіи. Для огромнаго большинства читателей, талантъ г. Фета далеко не имѣетъ того значенія, какимъ пользуется онъ между литераторами. Цѣнители таланта его состоятъ, можно сказать, изъ немногихъ любителей поэзіи, положеніе которыхъ въ этомъ случаѣ тѣмъ болѣе затруднительно, что вообще поэтическое достоинство писателя невозможно доказывать очевидными доводами, такъ что если наслажденіе, ощущаемое вами при чтеніи какого-либо поэтическаго произведенія, не раздѣляется вашимъ слушателемъ, — вамъ ничего другого не остается, какъ закрыть книгу.

Всѣ журналы наши встрѣтили книжку г. Фета сочувствіемъ и похвалами, но тѣмъ не менѣе, прислушиваясь къ отзывамъ о ней публики не литературной, нельзя не замѣтить, что она какъ-то недовѣрчиво смотритъ на эти похвалы: ей непонятно достоинство поэзіи г. Фета. Словомъ, успѣхъ его, можно сказать, только литературный: причина этого, кажется намъ, заключается въ самомъ талантѣ его. Г. Феть — не поэтъ отвлеченныхъ мыслей, которыя въ стихахъ имѣютъ ту выгоду, что какъ бы прозаически онѣ ни были выражены — онѣ прямо бросаются въ глаза читателю и не ставятъ его въ затрудненіе относительно пониманія стихотворенія; а бѣлая часть читателей совершенно удовлетворяется этимъ, не заботясь о томъ, поэтически ли выражены мысли эти. Благодаря такому легкому способу, многіе сочинители стиховъ слывутъ во мнѣніи нѣкоторыхъ читателей за настоящихъ поэтовъ. Съ другой стороны, г. Феть — не поэтъ какого-либо глубокомысленнаго воззрѣнія. Этотъ родъ поэзіи хотя понимается труднѣе предыдущаго, но такъ какъ всякое воззрѣніе можно болѣе или менѣе опредѣлить положитель-

нымъ, отчетливымъ образомъ, то чрезъ это опредѣленіе выясняется для читателей достоинство и значеніе поэта. У Фета, напротивъ, поэтическое чувство является въ такой простой, домашней одеждѣ, что необходимъ очень внимательный глазъ, чтобъ замѣтить его, тѣмъ болѣе, что сфера мыслей его весьма необширна, созерцаніе не отличается ни многосторонностью ни глубокомысліемъ; ничто изъ такъ называемаго современнаго не находитъ въ немъ ни малѣйшаго отзвука, наконецъ, воззрѣнія его не имѣютъ въ основѣ своей никакихъ постоянныхъ и опредѣленныхъ мотивовъ, никакого рѣзкаго характера, который, вообще, такъ облегчаетъ пониманіе поэта.

Все это такъ; но тѣмъ не менѣе мы считаемъ г. Фета не только истиннымъ поэтическимъ талантомъ, — но явленіемъ рѣдкимъ въ наше время, ибо истинный поэтическій талантъ, въ какой бы степени ни проявлялся онъ, есть всегда рѣдкое явленіе: для этого нужно много особенныхъ, счастливыхъ, природныхъ условій. Какъ! въ то время, когда міръ исполненъ исключительно заботами о своихъ матеріальныхъ интересахъ, когда душа современнаго человѣка погрузилась въ мертвящіе вопросы объ удобствахъ матеріальнаго своего существованія, когда такъ часто слышатся или стоны, или клики пресыщеннаго эгоизма, когда раздумье и сомнѣнія, уничтоживъ въ насъ молодость и свѣжесть ощущеній, отравили въ нихъ всякое прямое, цѣльное наслажденіе духовными благами жизни, — въ это время является поэтъ съ невозмутимою ясностью во взорѣ, съ незлобивою душою младенца, который какимъ-то чудомъ прошелъ между враждующими страстями и убѣжденіями, не тронутый ими, и вынесъ въ цѣлости свой свѣтлый взглядъ на жизнь, сохранилъ чувство вѣчной красоты, — развѣ это не рѣдкое, не исключительное явленіе въ наши времена? «Но все это скорѣе отрицательныя, нежели положительныя достоинства» могутъ возразить намъ; «никто не имѣетъ права отрываться отъ своей современности, въ противномъ случаѣ онъ будетъ походить на птицу, которая, сама не зная для чего, поетъ всякій вздоръ, какой взбредетъ ей въ голову». Нѣтъ, отвѣтимъ мы почтеннымъ дидактикамъ, принимающимъ на себя фанатическій надзоръ за своей мелкой современностью, — нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ! Прежде всякихъ требованій современности существуетъ личное я, существуетъ это сердце, этотъ человѣкъ, имѣющій неотъемлемое право быть самимъ собою, т. е. чувствовать, думать, не справляясь съ мимолетными требованіями современности. Не безпокойтесь, мы и безъ того во власти этой современности, намъ некуда отъ нея дѣваться. И автора «Вертера» упрекали за то, что онъ былъ совершенно равнодушнымъ къ своей современности. Дѣло въ томъ, что всякая современность имѣетъ въ себѣ двѣ стороны. Одна состоитъ изъ фанатизма, исключительности, партій, полныхъ взаимной ненависти, быстро смѣняющихся требованій и стремленій, изъ которыхъ каждое силится дать этой современности названіе, соотвѣтствующее его цѣлямъ; — но другая, истинная, существенная сторона современности, которая

перерабатываетъ всю эту вражду партій и интересовъ и произносить надъ ними свой высшій, неотразимый судъ, — увь! — эта современность съ движущей ее мыслью — почти всегда остается сокрытою отъ насъ. Мы знаемъ и понимаемъ ее только въ прошедшемъ, въ исторіи. Гёте потому-то и великій поэтъ, что не увлекся своею современностью, а устремлялъ взоры свои только въ вѣчныя свойства природы, въ вѣчныя начала души человѣческой. Рѣдкимъ, геніальнымъ людямъ выпадаетъ на долю даръ провидѣнія, — даръ открывать движущую мысль настоящаго и перспективы ея въ будущемъ; большинство идетъ обыкновенно своею узкою колеєю, считая ее всемірною дорогою, заблуждается, бросается изъ одной крайности въ другую, само не зная, гдѣ оно находится, и какой путь беретъ его исторія. Сколько, въ теченіе нашего вѣка, пережито было горькихъ разочарованій, сколько величайшихъ побѣдъ разлетѣлось прахомъ! И все это были своего рода современности! Съ этой точки зрѣнія, кажется, и надобно понимать нерасположеніе Гёте къ исторіи вообще, за которое такъ упрекали его. Его возмущали общіе взгляды въ исторіи, въ которыхъ совершенно теряется личность человѣческая, возмущало то отвлеченное понятіе о человечествѣ, которымъ такъ любили играть нѣмецкіе ученые; великій умъ его томился этимъ бѣдственнымъ положеніемъ личности, среди вѣчно крутящагося потока событій. «Исторія — жизнь народа!» — сказалъ онъ однажды профессору Людену, — «какъ мало заключаетъ въ себѣ самая пространная исторія, въ сравненіи съ общей жизнью народа! Когда вы очистите и разработаете всѣ источники исторіи, — что жъ вы найдете въ нихъ? Ничего другого, кромѣ давно открытой великой истины, которой подтвержденія далеко искать нечего, а именно: что люди всегда и вездѣ тревожили, мучили и себя и другъ друга; они и себѣ и другимъ отравляли всѣми средствами коротенькую жизнь нашу, не умѣя ни цѣнить ея ни наслаждаться красотой міра и сладостью бытія. Такъ было, такъ есть и будетъ. Такова судьба людей».

Скажемъ откровенно, мы сильно подозрѣваемъ въ недостаткѣ поэтическаго чувства почтенныхъ поклонниковъ современности, безъ разбора навязывающихъ ее всякому произведенію искусства. Развѣ мелодія, которая усладила наше сердце, менѣе дорога намъ оттого, что она ничего не говоритъ о современности? Развѣ природа, съ ея вѣчною красотой, совершенно утратила все свое очарованіе, потому что наше сердце измельчало и усохло въ житейскихъ волненіяхъ? Развѣ внутреннія, таинственныя движенія души, выраженные во всей ихъ поэтической глубинѣ, потеряли уже для насъ значеніе, потому что въ нихъ высказываются не общія, отвлеченныя мысли, а личныя, самобытныя движенія человѣческой души, — какъ природа вѣчно одинаковой и вѣчно новой въ своихъ внутреннихъ явленіяхъ? Вопросъ въ томъ, свободно ли, искренно ли возникаютъ они въ душѣ поэта. Въ этомъ отношеніи поэзія есть самый нѣжный, самый чуткій

цвѣтокъ, который не только не терпитъ ни малѣйшаго насилія, но вянетъ при легчайшемъ прикосновеніи къ нему придуманности или какой-нибудь посторонней цѣли, лежащей внѣ ея свободной и независимой сѣры. Если счастливо одаренный поэтъ имѣетъ даръ уловлять внутреннія движенія души своей — они для насъ всегда будутъ драгоценны. Вотъ почему цѣнимъ мы произведенія г. Фета. Со времени Пушкина и Лермонтова мы не знаемъ между русскими стихотворцами таланта болѣе поэтическаго, какъ талантъ г. Фета. Скажемъ болѣе, по лиризму чувства, его можно поставить на ряду съ первоклассными поэтами. Говоримъ только по лиризму чувства, а не по чему другому. Лиризмъ чувства, будучи необходимымъ условіемъ всякаго истиннаго таланта, далеко еще не можетъ замѣнить собою всѣхъ другихъ условій, требуемыхъ отъ настоящаго, совершеннаго поэта. Натура Пушкина, напимѣръ, была въ высшей степени многосторонняя, глубоко разработанная нравственными вопросами жизни. Это была не только въ высшей степени созерцательная, но и въ высшей степени мыслящая натура, которая имѣла даръ не только поэтически уловлять внутреннія явленія глубокой души своей, но и вдумываться въ нихъ. Въ этомъ отношеніи г. Фетъ кажется передъ нимъ наивнымъ ребенкомъ. Но, кромѣ своего врожденнаго, невольнаго лиризма, душа Пушкина была необыкновенно чутка ко всему, ко всѣмъ явленіямъ человѣческой жизни, и, сверхъ всего этого, Пушкинъ былъ еще великимъ художникомъ, удивительно и глубокомысленно владѣвшимъ даннымъ ему отъ природы матеріаломъ слова, — художникомъ, насквозь проникнутымъ тѣмъ таинственнымъ и непостижимымъ чувствомъ красоты и граціи, которое природа даетъ только самымъ избраннѣйшимъ изъ дѣтей своихъ. Къ довершенію всѣхъ этихъ удивительныхъ свойствъ, Пушкинъ высоко понималъ свое призваніе поэта и свято дорожилъ имъ, какъ высочайшимъ даромъ природы. Всякій, кто съ нѣкоторымъ вниманіемъ читаетъ Пушкина, — непременно убѣдится, что для него писать стихи вовсе не было забавою или развлеченіемъ отъ скуки и утомленій свѣтской жизни. Говоря это, мы, разумѣется, имѣемъ въ виду позднѣйшій періодъ его поэтическаго развитія: въ этотъ періодъ каждое произведеніе долго и строго создавалось въ душѣ его, съ тою великою художественною оконченностью, которая останется предметомъ изученія для долгихъ поколѣній. Конечно, передъ такою исключительною натурою г. Фетъ кажется не болѣе, какъ дилетантомъ поэзіи. Но крайней несправедливостью было бы требовать отъ него не того, что даетъ и что можетъ дать талантъ его, тѣмъ болѣе, что въ немъ есть свойства и достоинства, безцѣнные для истинныхъ любителей поэзіи. Мы даже думаемъ, что стихи г. Фета можно употреблять, какъ пробный камень, для узнанія, есть ли въ читателѣ тонко развитое поэтическое чувство.

Выше уже замѣтили мы, что главнымъ достоинствомъ въ г. Фетѣ кажется намъ лиризмъ его чувства. Только глубина, сила и ясность

чувства — дѣлають его лирическимъ. Вотъ единственно истинный источникъ всякой поэзіи! Какъ бы возвышенна ни была ваша мысль, если она не стала вашею плотью и кровью, жизнью души вашей, словомъ, не сдѣлалась вашимъ личнымъ чувствомъ и не переполнила собой вашего сердца, — безъ этого, въ какихъ бы великолѣпныхъ стихахъ ни выражали вы ее, — она все-таки останется общею, отвлеченною, головною мыслью, и поэзіи въ ней не будетъ. Собственно говоря, поэтовъ мысли нѣтъ и быть не можетъ. Правда, что у Гёте есть много стихотвореній, въ которыхъ выражается его воззрѣніе на природу, на человѣка и вообще на вселенную, но эти стихотворенія болѣею частью исполнены истинной поэзіи потому, что воззрѣнія эти — не результатъ одной мысли головы, напротивъ, они сдѣлались его задушевнымъ вѣрованіемъ, жизнью души его, онъ не только такъ думалъ, онъ дѣйствительно чувствовалъ такъ. Но мысль, проникающая собой всю душу человѣка и дѣлающаяся его задушевнымъ чувствомъ, — есть явленіе рѣдкое; болѣею частью стихотворцы удовлетворяются одною только головною мыслью, выражаютъ ее стихами и даже производятъ впечатлѣніе на людей мало свѣдущихъ въ поэзіи. Но съ этой стороны нашу литературную критику теперь обмануть трудно. Поэтическій скептицизмъ, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ господствовавшій въ нашей критикѣ и воздвигавшій такія гоненія на стихи и стихотворцевъ, принесъ ей много пользы, и теперь критика скорѣе способна не замѣтить дѣйствительнаго поэтическаго таланта, нежели увлекаться призракомъ его, какъ прежде, или найтти его тамъ, гдѣ нѣтъ его.

Страшно подумать, сколько нужно особенныхъ, счастливыхъ природныхъ условій для истиннаго и полнаго поэта! Не говоря уже о глубокой душѣ, которая одна дѣлаетъ человѣка поэтомъ, — но глубокомысленный умъ, но всесторонняя симпатичность и чуткость души къ самымъ разнообразнѣйшимъ явленіямъ жизни, художественное чувство формы, глубокое нравственное чувство, которое условливаетъ воззрѣніе его на жизнь и право суда надъ нею — и въ отдѣльности каждое изъ этихъ свойствъ рѣдко встрѣчается въ человѣкѣ, а при этомъ надобно еще, чтобы счастливыя обстоятельства дали всѣмъ этимъ совокупнымъ свойствамъ обширное образованіе!! Какое же нужно исключительное, необычайное стеченіе счастливейшихъ случайностей, для того, чтобъ родился человѣкъ, въ которомъ бы всѣ эти, и безъ того рѣдкія качества, были гармонически слиты въ одно цѣлое! А мы еще удивляемся рѣдкому явленію великихъ поэтовъ! Въ какую бы эпоху ни родился такой человѣкъ, — онъ непременно будетъ поэтомъ; никакой практицизмъ, никакая матеріальность эпохи не помѣшаютъ ему сдѣлаться имъ. Ему нечего далеко отыскивать матеріаловъ для своего искусства: они лежатъ въ немъ и вокругъ него. Онъ узнаетъ внутреннее, подъ какими бы одеждами ни скрывалось оно: онъ потому и поэтъ, что всюду узнаетъ его.

Жизнь и природа человѣческая тѣ же, какими были и какими всегда будутъ — съ ихъ безконечными желаніями и мелкими достиженіями, съ ихъ вѣчно несбывающимися и вѣчно возрождающимися стремленіями. Большею частью случается, что изъ упомянутыхъ нами качествъ преобладаетъ у стихотворцевъ въ отдѣльности то или другое. У иного много воображенія, но очень мало поэтическаго чувства; въ другомъ есть одно только чувство формы и внѣшней красоты, которое уловляетъ одну наружную поверхность явленій, а ихъ жизненная сила, которая поддается только поэтическому чувству, ускользаетъ, явленія остаются безжизненными и изображенія ихъ неминуемо становятся реторическими. Всѣ эти отдѣльные качества получаютъ жизнь и дѣйствительность только отъ поэтическаго чувства: въ немъ одномъ заключается творческое начало. При немъ же, если и недостаетъ какого-либо изъ помянутыхъ качествъ, или находятся они въ слабой степени, — все-таки въ произведеніяхъ чувствуется жизненная струя, подмѣчать и цѣнить которую есть прямая обязанность критики, ибо струя эта и сообщаетъ единственно жизнь и оригинальность каждой литературѣ. Будемъ же, въ ожиданіи полныхъ и великихъ поэтовъ, встрѣчать съ привѣтомъ и радушіемъ, всякій истинно поэтической талантъ, тѣмъ болѣе, что и онъ большая рѣдкость.

Самое драгоценное свойство истинно поэтическаго таланта и вѣрнѣйшее доказательство его дѣйствительности и силы есть оригинальность и самобытность мотивовъ, или, говоря музыкальнымъ выраженіемъ, мелодій, лежащихъ въ основѣ его произведеній. Удивительное дѣло! Несмотря на тысячелѣтія, пережитыя человѣчествомъ, и на видимое однообразіе человѣческихъ страстей и чувствъ, — выраженіе личной, душевной жизни человѣка всегда имѣетъ для насъ привлекательную, чарующую силу. Внутренняя личность каждаго человѣка, несмотря на свою внѣшнюю одинаковость, — есть своего рода разнообразнѣйшій и самобытный міръ, исполненный для насъ самаго живѣйшаго интереса. Разумѣется, тутъ все зависитъ отъ достоинства и значенія самой личности, отъ глубины ея, отъ богатства и многосторонности ея природы, а главное — отъ искренности ея выраженія. Потому прежде всего скажемъ мы каждому поэту и каждому писателю; «будьте правдивы и искренни, если хотите, чтобъ вамъ вѣрили и цѣнили васъ». Быть искреннимъ и правдивымъ не легко; только съ помощью самой глубокой серьезности мысли можетъ человѣкъ высказать свое чувство, свое воззрѣніе на жизнь и людей, высказать дѣйствительное состояніе своего сердца, и только въ такомъ случаѣ другіе люди непременно станутъ сочувствовать ему, — такъ чудно мы всѣ связаны между собой симпатією. Нужды нѣтъ, что по воззрѣніямъ, по понятіямъ, по общественному положенію мы можемъ стоять выше или ниже этого человѣка, во всякомъ случаѣ слова его, если только они правдивы и искренни, непременно найдутъ

отголосокъ внутри насъ, и сердце человѣка непремѣнно отвѣтитъ сердцу человѣка.

Вотъ гдѣ заключается вѣчная прелесть и очарованіе лирической поэзіи. Оригинальность и самобытность мотивовъ, о которыхъ упомянули мы, есть только слѣдствіе правдивости и искренности поэта.

Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательны произведенія г. Фета. Во всей книжкѣ его стихотвореній нѣтъ, можно сказать, ни одного, которое не было бы внушено внутреннимъ, невольнымъ побужденіемъ чувства. Поэтическое содержаніе есть прежде всего содержаніе собственной души; этого намъ дать никто не можетъ: и первое условіе всякаго лирическаго стихотворенія — чтобъ оно было пережито авторомъ, чтобъ оно заключало въ себѣ пережитое, и чтобъ это пережитое вызвало его. Иногда г. Фетъ самъ не въ состояніи совладѣть съ своимъ внутреннимъ, поэтическимъ побужденіемъ; выражаетъ его неудачно, темно; — но, несмотря на это, чувствуешь, что основной мотивъ вѣренъ и искрененъ, и, при всемъ несовершенствѣ, при всей запутанности формы, глубоко сочувствуешь ему. А потомъ мотивы г. Фета заключаютъ въ себѣ иногда такіе тонкіе, такіе, можно сказать, эфирные оттѣнки чувства, что нѣтъ возможности уловить ихъ въ опредѣленныхъ отчетливыхъ чертахъ, и ихъ только чувствуешь въ той внутренней музыкальной перспективѣ, которую стихотвореніе оставляетъ въ душѣ читателя (какъ, напримѣръ, «Гнелы», «Фантазія» и многія другія). Рѣдкое изъ стихотвореній г. Фета не пробуждаетъ въ душѣ этой перспективы, — непремѣнное дѣйствіе всякаго истинно-поэтическаго произведенія, — перспективы, въ которую задумчиво и отрадно погружается наше чувство, теряясь во внутренней ея безконечности. Мы назвали бы эту внутреннюю перспективу — эхомъ, отзывомъ, который пробуждаетъ въ душѣ нашей каждое истинно-поэтическое произведеніе. Бóльшая или мѣньшая живучесть этого отзыва служитъ самымъ лучшимъ доказательствомъ силы и глубины звука, заключающагося въ произведеніи. Есть произведенія, эхо которыхъ держится въ душѣ читателя долгіе годы, и даже цѣлую жизнь. И самое произведеніе и содержаніе его давно уже забылись, — но мелодія его таинственно слилась съ общею жизнью души нашей, сплелась съ нашимъ духовнымъ организмомъ, стала нашимъ заповѣднымъ и бессознательнымъ чувствомъ и во всю нашу жизнь проявляется въ насъ. Всякій, кто въ юности своей читалъ Шиллера, вѣроятно, согласится въ этомъ съ нами. Говоря вообще, все, разъ явившееся на свѣтъ, никогда не исчезаетъ безъ слѣда, и это земное, бренное существованіе человѣка предназначено къ безконечнымъ отзывамъ. Все дѣйствительно, а не призрачно совершающееся — сливается съ вѣчно живою, вѣчно дѣятельною вселенной и дѣйствуетъ, — къ добру или худу, тайно или явно, но непремѣнно дѣйствуетъ во все времена. Истинное никогда не пропадаетъ; все то, что въ прошедшемъ имѣло существенное достоинство, — не исчезнетъ; ни одна

истина, осуществленная человекомъ, ничто благое никогда ни умираетъ, но всегда пребываетъ здѣсь и живетъ и дѣйствуетъ, все равно признаютъ, или не признаютъ его люди. Въ поэзіи, въ искусствѣ, въ обществѣ — все переходитъ только изъ одной формы въ другую, но ничего не теряется. Старѣетъ и умираетъ только то, что лежитъ на поверхности. Но подъ смертною внѣшностью заключается вѣчная сущность, безсмертная, постоянно воплощающаяся въ высшемъ, въ лучшемъ откровеніи. Наше настоящее, наша современность есть живой результатъ всего прошедшаго.

Мы не станемъ останавливаться на тѣхъ изъ стихотвореній г. Фета, въ которыхъ основной и поэтически вѣрный мотивъ выражается не только въ смутной, запутанной формѣ, но иногда даже въ такомъ странномъ наборѣ образовъ и сравненій, что читатель рѣшительно имѣетъ право — считать всю пьесу за бессмыслицу. Впрочемъ, такихъ стихотвореній въ книжкѣ г. Фета немного, не болѣе двухъ или трехъ; но — странное дѣло! — мы съ какимъ-то особеннымъ участіемъ смотримъ на нихъ: ихъ поэтически вѣрный мотивъ, кажется намъ, напоминаетъ собою птичку, попавшую въ силки и тщетно бьющуюся, чтобъ вылетѣть изъ нихъ на свободу. Возьмемъ для примѣра одну изъ запутанныхъ пьесъ г. Фета:

Полуночные образы рѣютъ,  
Блещутъ искрами ярко впотъмахъ;  
Но глаза различить не умѣютъ,  
Много ль ихъ на тревожныхъ крылахъ.  
Полуночные образы стонутъ,  
Какъ больной въ утомительномъ снѣ,

И всплываютъ, и стонутъ, и тонутъ;  
Но о чемъ это стонутъ они?  
Полуночные образы воютъ,  
Какъ духовъ испугавшійся песь;  
То нахлынуть, то бездну откроютъ,  
Какъ волна обнажаетъ утесъ.

Что это такое? чувствуешь, что на днѣ этого хаоса бьется что-то живое, какое-то глубокое чувство, которое въ долгую безсонную ночь томится въ своихъ неопредѣленныхъ порывахъ; чувствуешь, что въ этой путаницѣ бродитъ какая-то тайная, безыменная тревога, охватившая душу и вызывающая изъ глубины ея смутные образы, которыхъ не въ силахъ уловить сознание. Но, повторяемъ, основной мотивъ искрененъ и правдивъ; онъ не сочиненъ, онъ взятъ изъ души живымъ и трепещущимъ, и бьется въ спутанныхъ тенетахъ, изъ которыхъ Фету не достало силы и умѣнья освободить его, т.е. выразить его въ торжественной ему формѣ. Мы нарочно выбрали самое неудачное изъ стихотвореній г. Фета, чтобъ показать, что даже и въ самой слабой изъ пьесъ его слышится вѣрный поэтическій мотивъ. Къ сожалѣнію, надо сказать, что вообще поэтическій талантъ г. Фета болѣе походитъ на талантъ импровизатора: какъ сказалась, какъ вылилась у него пьеса въ первую, зародившую ее минуту, — такую и остается она; строгое, художественное чувство формы, не допускающее ни одной смутной черты, ни одного неточнаго слова, ни одного шаткаго сравненія, рѣдко посѣщаетъ его. Въ немъ рѣдко присутствуетъ тотъ, какъ, называетъ его Гоголь, неутомимый внутренній судія, строго требующій отчета во всемъ и

поворачивающей всякій разъ назадъ при необдуманномъ стремленіи впередъ. Въ г. Фетѣ вообще мало критическаго такта, онъ слишкомъ снисходителенъ къ своимъ произведеніямъ; какъ импровизаторъ, онъ болѣею частью предоставляетъ ихъ собственной судьбѣ. Это много вредитъ ему — и мы, дорожа его поэтическимъ талантомъ, беремъ на себя смѣлость напомнить ему эти строгія слова Гёте, хотя они и несовсѣмъ приложимы къ нему: «Въ лирической поэзій болѣе, нежели въ другихъ искусствахъ, опасно смѣшивать простую, дилетантскую способность съ настоящимъ поэтическимъ призваніемъ. Когда случается это, то дилетанту поэзій хуже бываетъ, чѣмъ дилетанту всякаго другого искусства: его существованіе становится совершенно ничтожнымъ, потому что поэтъ есть ничто, если онъ не дѣйствительно поэтъ, серьезно и сообразно искусству».

Мы нарочно указываемъ на слабыя стороны таланта г. Фета, для того, чтобы читатели не могли заподозрить насъ въ пристрастіи къ нему. Нѣтъ, мы ясно видимъ всѣ недостатки его таланта, — скажемъ болѣе, — даже всю ограниченность сферы его; но тѣмъ не менѣе цѣнимъ мы въ немъ живую поэтическую струю, рѣдкій, драгоценный даръ пробуждать въ сердцахъ людей сладость поэтическихъ ощущеній. Когда ему удается уловить свое душевное состояніе, то стихотвореніе выходитъ у него превосходнымъ. Вотъ одно изъ такихъ стихотвореній, въ которомъ въ сосредоточенныхъ, яркихъ, опредѣленныхъ и вмѣстѣ воздушныхъ чертахъ выразилось одно изъ самыхъ сложныхъ и неуловимыхъ сердечныхъ ощущеній.

О, долго буду я въ молчаньи ночи тайной,  
Коварный лепетъ твой, улыбку, взоръ случайный  
Перстамъ послушную волосъ густую прядь  
Изъ мыслей изгонять и снова призывать:  
Дыша порывисто, одинъ, никѣмъ не зримый,  
Досады и стыда румянами палимый,  
Искать хотя одной загадочной черты  
Въ словахъ, которыя произносила ты;  
Шептать и поправлять былыя выраженья  
Рѣчей моихъ съ тобой, исполненныхъ смущенья,  
И въ опьяненіи, наперекоръ уму,  
Завѣтнымъ именемъ будить ночную тьму.

Но мы будемъ еще имѣть случай говорить о достоинствѣ таланта г. Фета, а теперь продолжимъ наши замѣчанія о слабыхъ сторонахъ его. Внутренній міръ г. Фета, — сколько мы можемъ судить по стихотвореніямъ его, — не отличается ни многосторонностью ни глубокомысліемъ содержанія. Изъ всѣхъ сложныхъ и разнообразныхъ сторонъ внутренней человѣческой жизни въ душѣ г. Фета находитъ себѣ отзывъ одна только любовь и то болѣею частью въ видѣ чувственнаго ощущенія, то-есть въ самомъ, такъ сказать, первобытномъ, наивномъ своемъ проявленіи. Вообще, личная, внутренняя жизнь очень мало даетъ ему поэтическихъ мотивовъ. Отъ этого на поэзій его не лежитъ та яркая, характерная печать личности, которая

прежде всего привлекаетъ симпатію читателя къ лирической поэзіи, гдѣ выраженіе личной жизни сосредоточеннаго въ себѣ сердца составляетъ всегда преобладающій интересъ. Г. Фетъ есть преимущественно поэтъ впечатлѣній природы. Самую существенную сторону его таланта составляетъ необыкновенно тонкое, поэтическое чувство природы. Въ этомъ онъ можетъ поспорить съ первоклассными поэтами. Мы сказали выше, что стихи г. Фета есть пробный камень для узнанія въ читающемъ ихъ поэтическаго чувства, — мы бы должны были прибавить — чувства красоты предметовъ и явленій. Въ высшей степени одаренъ г. Фетъ этимъ чувствомъ красоты: онъ уловляетъ не пластическую реальность предмета, а идеальное, мелодическое отраженіе его въ нашемъ чувствѣ, именно красоту его, то свѣтлое, воздушное отраженіе, въ которомъ чуднымъ образомъ сливаются форма, сущность, колоритъ и ароматъ его. Въ лирическомъ стихотвореніи, если оно имѣетъ предметомъ изображеніе природы, — главное заключается не въ самой картинѣ природы, а въ томъ поэтическомъ ощущеніи, которое пробуждено въ насъ природою, такъ что здѣсь природа является только поводомъ, средствомъ для выраженія поэтическаго ощущенія. Не надобно забывать, что призваніе поэзіи въ этомъ, да и во всякомъ случаѣ состоитъ не въ фотографически вѣрномъ изображеніи природы, — до этого никакое искусство не можетъ достигнуть, — а въ пробужденіи нашего внутреннего созерцанія природы. Только то и поэзія, что пробуждаетъ это внутреннее созерцаніе. Отдѣлка подробностей, конечно, имѣетъ важное достоинство, но вѣдь то, что въ дѣйствительности можно осмотрѣть и охватить однимъ глазомъ, въ описаніи и не иначе можетъ быть представлено, какъ въ отдѣльныхъ чертахъ и одно за другимъ. Поэтому великій художественный даръ нуженъ писателю для изображенія природы, нуженъ великій тактъ для того, чтобъ отдѣльныя подробности нисколько бы не затемняли собою содержанія цѣлаго, а напротивъ, только придали бы красоту, колоритъ и рельефность для нашего внутреннего созерцанія. Въ этомъ отношеніи художественный даръ г. Фета и чуткость души его къ природѣ изумительны. Большая часть поэтовъ любитъ воспроизводить только самыя сильныя эффектныя явленія природы; у г. Фета, напротивъ, находятъ себѣ отзывъ самыя обыденныя, которыя пролетаютъ мимо насъ, не оставляя въ душѣ нашей никакого слѣда, — и эти-то обыденные моменты показываетъ г. Фетъ въ ихъ неподозрѣваемой красотѣ. Онъ не подходитъ къ нимъ съ заранѣе придуманной мыслью, но для того, чтобы задуматься надъ ними, не отыскиваетъ въ природѣ символовъ для своихъ мыслей; нѣтъ, — все, каждое мимолетное явленіе имѣетъ для него свое собственное значеніе, свою собственную красоту. Такую наивную внимательность чувства и глаза пайдешь развѣ у первобытныхъ поэтовъ. Онъ не задумывается надъ жизнью, а безотчетно радуется ей. Это какое-то простодушіе чувства, какой-то первобытный праздничный взглядъ на явленія жизни, свойственный первоначаль-

ной эпохѣ человѣческаго сознанія. Поэтому-то онъ такъ и дорогъ намъ, какъ невозвратимая юность наша. Оттого такъ привлекательны, цѣльны и полны выходятъ у г. Фета пьесы антологическаго или античнаго содержанія.

*Боткинъ.*

## **Поэзія Фета — выразительница легкихъ, едва уловимыхъ движеній души, движеній минутныхъ, мгновенныхъ, остановившихся.**

О, если бъ безъ слова  
Сказаться душой было можно!  
*А. А. Фетъ.*

Необходимое условіе поэзіи — дать больше, чѣмъ могутъ дать слова.

Задача поэзіи — высказать душу, раскрыть то, чѣмъ дѣйствительно живетъ человѣкъ, то-есть его внутреннюю жизнь, закрытую отъ другихъ людей. Средство поэзіи — слова. Но сколько бы въ языкѣ ни было словъ, ограниченное число ихъ во всякомъ случаѣ недостаточно для выраженія безконечнаго ряда мгновеній, изъ которыхъ слагается душевная жизнь. Кромѣ того, слова — только условные знаки, имѣющіе одинаковое значеніе для всѣхъ, и это общее, неизмѣнное, заключающее въ себѣ лишь то, что доступно всѣмъ, никогда не можетъ передать всего разнообразія отдѣльной, личной жизни. Поэтому прозаическая рѣчь, въ которой слова должны подчиняться своему точному, буквальному смыслу, являясь неопцѣненнымъ орудіемъ практической жизни, — совершенно безсильна высказать душевную жизнь личности. Для этой цѣли необходимо иное средство, и такое средство есть искусство, художественное творчество.

Человѣкъ, отъ начала своей исторіи стремившійся рассказать то, что скрыто у него въ душѣ, заключенной въ границы индивидуальнаго существованія, изобрѣлъ не мало такихъ средствъ. Въ архитектурныхъ произведеніяхъ, въ созданіяхъ скульптуры, въ картинахъ, въ музыкальныхъ композиціяхъ онъ непрерывно старался передать то, что носилъ въ своей душѣ. Но если душа можетъ говорить душѣ посредствомъ камней, красокъ и звуковъ, то этой же цѣли можетъ служить и слово. Въ этомъ качествѣ оно есть основаніе особаго рода искусства — поэзіи.

Какъ средства или матеріалъ всякаго другого искусства, такъ и слово можетъ быть пригодно для разныхъ цѣлей. Какъ камни далеко не всегда идутъ на постройку художественныхъ зданій, какъ мраморъ и бронза не всегда служатъ ваятелю, но часто простымъ ремесленникамъ, какъ краски встрѣчаются не только на палитрѣ живописца, но и въ ведрѣ красильщика и на печатномъ станкѣ фабрики, такъ точно и слово есть не только даръ поэтовъ, но вмѣстѣ и орудіе обмѣна мыслей въ различныхъ случаяхъ всендневной жизни. Но въ этихъ случаяхъ оно говоритъ лишь сознанію и говоритъ лишь

столько, сколько можно извлечь изъ его логическаго содержанія. Въ одной поэзіи слово получаетъ особенную силу выражать не только мысли, но всю полноту душевной жизни, выражать больше, чѣмъ сколько вложено въ него сознаваемымъ его смысломъ. Какимъ образомъ этотъ звукъ, символъ, условный знакъ логическаго понятія можетъ стать откровеніемъ души человѣческой—это тайна творчества, этому учитъ врожденная способность, поэтическій геній, но въ существующихъ уже произведеніяхъ слова безъ особеннаго труда можно отдѣлить поэзію отъ прозы. Важнѣйшимъ внѣшнимъ признакомъ поэзіи является стихъ—то гармоническое сочетаніе словъ, которое отвѣчаетъ не только ихъ смыслу, но и музыкальнымъ требованіямъ, то-есть требованіямъ метра и рѣмы, или, по крайней мѣрѣ, одного метра. Въ прежнее время, когда понятія были тверды и опредѣленны, этотъ признакъ считался настолько существеннымъ, что все, что не имѣло стихотворной формы, не признавалось поэзіей. Но «nous avons changé tout cela», и у насъ появилась поэзія въ прозѣ. Оправданіе свое это, строго говоря, бессмысленное выраженіе находитъ въ томъ, что называется слогомъ или стилемъ писателя. Еще Бюффонъ говорилъ: «человѣкъ это стиль». Съ помощью стиля, нѣкоторые прозаическіе писатели, подобно настоящимъ поэтамъ, могли выразить не однѣ только мысли, но также и свои настроенія и то, что жило въ ихъ душѣ, волновало ее. Только посредствомъ стиля могла проявиться ихъ личность, оригинальность, темпераментъ. Это настолько вѣрно, что нельзя себѣ представить двухъ оригинальныхъ писателей, стиль которыхъ былъ бы одинаковъ. Всѣ крупные представители нашей художественной прозы: Гоголь, Тургеневъ, Толстой, Достоевскій—имѣли свой особый стиль; всѣ же писатели, подражавшіе имъ въ слогѣ, не внесли въ литературу ничего личнаго, своеобразнаго.

Если, однако, стихотворная форма или, по крайней мѣрѣ, стиль необходимы для поэтическаго творчества, то, съ другой стороны, конечно, не все то поэзія, что написано стихами. Извѣстное посланіе Ломоносова къ Шувалову о пользѣ стекла или менѣе давніе, но болѣе забытые фельетоны Некрасова (напримѣръ «Газетная») не превратились, безъ сомнѣнія, въ поэзію отъ того, что изложены стихами. Истинная поэзія лишь тамъ, гдѣ поэтическое содержаніе нашло для себя полное выраженіе, то-есть свою совершенную форму. Эта форма—слова, но только тѣ слова—поэзія, въ которыхъ сумѣла проявиться живая, личная душа.

Поэтическое содержаніе стихотвореній г. Фета совершенно неизмѣримо съ буквальнымъ смысломъ словъ, изъ которыхъ они состоятъ. Поэтому его произведенія—истинная поэзія, и поэтому же ихъ часто не понимаютъ и не цѣнятъ. Извѣстность Фета и въ настоящее время не особенно широка, а лѣтъ двадцать или тридцать назадъ передовая критика, пользовавшаяся въ публикѣ наибольшимъ сочувствіемъ, относилась къ поэту не иначе, какъ съ насмѣшкой

и глумленіемъ. Критикъ этой было мало дѣла до искусства, до поэзіи; она искала и цѣнила только опредѣленныя мысли и потому не дѣлала никакого различія между прозою и поэтическими произведеніями. Не чувствуя и не цѣня въ творествѣ Фета того, что въ немъ было дѣйствительно поэтическаго, критика эта осуждала его за то, что не находила въ его произведеніяхъ качествъ умной прозы. Критика эта была чужда сознанія, что жизнь души наполняется не одними понятіями, что не однѣ только мысли имѣютъ право на выраженіе въ литературѣ, и что слова въ ихъ логическомъ сочетаніи, то-есть прозаическія произведенія, бессильны передавать внутреннюю жизнь человѣка. Рѣдко кому тогда было понятно то, что заставило одного изъ современниковъ Фета, даровитаго лирическаго поэта, съ горечью воскликнуть:

Какъ сердцу высказать себя?  
Другому какъ понять тебя?  
Пойметъ ли онъ, чѣмъ ты живешь?  
Мысль изреченная есть ложь.

Вотъ чѣмъ нужно проникнуться, чтобы понять и оцѣнить поэзію Фета. Самъ онъ глубоко чувствовалъ «роковую ложь» словъ, предъ которой у него «клонить голову маститую мудрець», и, однако, былъ поэтомъ, художникомъ слова. Но онъ даетъ въ своихъ произведеніяхъ больше, чѣмъ могутъ дать слова. Онъ пишетъ слова, но въ нихъ вы чувствуете бѣненіе сердца и трепеть нервовъ. Онъ не композиторъ, не живописецъ, не ваятель, онъ не можетъ выражать душевныя настроенія въ звукахъ, краскахъ или формахъ, онъ — поэтъ, въ его распоряженіи только слова. Но съ помощью средствъ поэзіи, съ помощью стиха, которымъ онъ владѣетъ съ замѣчательною легкостью, свободою и изяществомъ, съ помощью сочетанія словъ, своеобразнаго или даже страннаго, съ помощью эпитетовъ, неожиданныхъ и съ перваго раза поразительныхъ, ему удается пробиться сквозь условность словъ, вырваться за тѣсный предѣлъ ихъ логическаго значенія и хоть на мгновеніе нарушить законъ вѣчнаго молчанія души.

Среди произведеній Фета можно найти не мало такихъ, въ которыхъ съ необыкновенною искренностью, непосредственностью и правдою передаются различные моменты душевной жизни. Выборъ здѣсь затруднителенъ только потому, что такихъ стихотвореній очень много. Но для того, чтобы сразу почувствовать размѣръ дарованія Фета, прочтите его «Фантазію»:

Мы одни; изъ сада въ стекла оконъ  
Свѣтитъ мѣсяць... Тусклы наши свѣчи;  
Твой душнстый, твой послушный локонъ,

Развиваясь, падаетъ на плечи.

Что жъ молчимъ мы? Или самовластно

Царство тихой, свѣтлой ночи мая?

Иль поетъ и ярко такъ и страстно

Соловей, надъ розой изнывая?

Иль проснулись птички за кустами,

Тамъ, гдѣ вѣтеръ колыхалъ ихъ гнѣзла,

И, дрожа ревнивыми лучами,

Ближе, ближе къ намъ нисходятъ

звѣзды?

На суку извилистомъ и чудномъ.

Пестрыхъ сказокъ вышняя жлица,

Вся въ огнѣ, въ сіяньѣ пазумудномъ.	Переходяты радужныя краски.
Надъ водою качается жарь-птица:	Раздражая око свѣтомъ ложнымъ;
Расписныя раковины блещутъ	Мигъ еще... и нѣтъ волшебной сказки.
Въ переливахъ чудной позолоты.	И душа опять полна возможнымъ...
До луны жемчужной пѣной мещутъ	Мы одни; изъ сада въ стекла оконъ
И алмазной пылью водометы,	Свѣтитъ мѣсяць, — тусклы наши
Листья полны свѣтлыхъ насѣкомыхъ.	свѣчи, —
Все растеть и рвется вонъ изъ мѣры.	Твой душистый, твой послушный ле-
Много сновъ проносится знакомыхъ.	конь.
И на сердцѣ много сладкой вѣры...	Развиваясь, падаетъ на плечи...

Нельзя не плѣниться прелестью этого стихотворенія. Въ немъ слово творить чудеса, вызываетъ образы удивительной ясности, покорно слѣдуетъ за причудливую игру фантазій, передаетъ во всей ея необычайности ту грезу души, тотъ неустойчивый, улетающій, какъ сонъ, мигъ ея жизни, когда вся роскошь волшебной сказки становится для нея дѣйствительностью. Здѣсь форма нераздѣльно слита съ содержаніемъ. Это фантастическое видѣніе не только невозможно передать прозою, но нельзя сдѣлать ни малѣйшаго измѣненія въ построеніи стихотворенія, чтобы не нарушить его обаянія.

Эта неотдѣлимость формы отъ содержанія есть, конечно, общее свойство истинной поэзіи, въ особенности же поэзіи лирической. Но стихи Фета въ этомъ отношеніи еще болѣе нѣжны и неприкосновенны, чѣмъ произведенія другихъ поэтовъ. Легкія, едва учувимыя движенія души, составляющія почти исключительные мотивы поэзіи Фета, требуютъ для своего выраженія особенныхъ условій. Слова сами по себѣ недостаточны для этого, и только одно какое-либо ихъ сочетаніе, музыкальность размѣра и своеобразіе рѣзмы держать въ себѣ поэтическую мысль произведенія. Вспомните, напримѣръ, «Старыя письма», «Знаю я, что ты малютка», «Не отходи отъ меня», «Жду я, тревогой объять», «Прежніе звуки, съ былымъ обаянемъ», «Въ дымкѣ-невидимкѣ» и пр. Каждое изъ этихъ произведеній цѣликомъ, съ его рѣзмами, съ его размѣромъ вылилось изъ души автора, изъ опредѣленнаго настроенія, и вы не можете себѣ представить другихъ словъ, другой формы, въ которыхъ съ такою же искренностью и полнотою возможно было бы передать тѣ же мысли и настроенія.

Отсюда ясно, что для того, чтобы проникнуться мыслью поэтического произведенія, нужно воспринимать его во всей его цѣлости. Какъ все живое и органическое, его нельзя анатомировать и расчленять, не убивъ въ немъ жизни. И если произведенія Фета не выдерживали того логическаго анализа, съ которымъ приступали къ нему прежняя критика и многіе читатели, то это есть лучшее доказательство, что его творчество — не холодное придумываніе, не риторика, а дѣйствительная поэзія, настоящая лирика, истинный языкъ души.

Высказать душу — всегдашняя задача поэзіи, и потому признать нашего автора поэтомъ, даже поэтомъ лирическимъ, значитъ — еще немного сдѣлать для его характеристики. Фетъ не только истинный

и, слѣдовательно, оригинальный поэтъ, но поэтъ совсѣмъ особенный. Большинство другихъ поэтовъ, по крайней мѣрѣ тѣхъ, на произведеніяхъ которыхъ мы выросли и воспитались, чьи имена мы вспоминаемъ всегда, когда говоримъ о поэзіи, въ своихъ лирическихъ стихотвореніяхъ изображаютъ обыкновенно настроеніе или чувство такъ, какъ они представляются сознанію, въ томъ ихъ значеніи, какое они имѣютъ для жизни, въ какомъ они могутъ стать основаніемъ драмы или источникомъ размышленія. Эти чувства болѣе или менѣе цѣльны, опредѣленны, ихъ можно назвать, объ ихъ значеніи можно говорить. Такова лирика у Шиллера, Гёте, Байрона, Гюго, Державина, Пушкина, Лермонтова, Полонскаго и Майкова.

Не останавливаясь на такихъ вещахъ, какъ, напримѣръ, знаменитое «Resignation» Шиллера (Auch ich war in Arkadien geboren), «Богъ», Державина, «Поэту» Пушкина, «Дума» Лермонтова, «Ангель и Демонъ» Майкова — произведеніяхъ сильныхъ и значительныхъ по мысли, въ нихъ выраженной, — возьмите даже интимныя, искреннія, навѣянные случайнымъ настроеніемъ стихотворенія, напримѣръ: «Для береговъ отчизны дальней» Пушкина, «Парусъ» или «Тучки небесныя» Лермонтова, «Пришли и стали тѣни ночи» или «Вальсъ» Полонскаго — въ каждомъ изъ нихъ вы найдете опредѣленное жизненное положеніе и соотвѣтствующее ему чувство или настроеніе, связь которыхъ съ этимъ положеніемъ ясна и понятна сознанію.

Совсѣмъ иное — поэзія Фета. Въ его стихотвореніяхъ, въ особенностяхъ наиболѣе своеобразныхъ, отмѣченныхъ личностью автора, намъ являются не цѣльныя, законченныя чувства или настроенія, но минуты, мгновенія душевной жизни, для которыхъ нѣтъ слова въ языкѣ, нѣтъ образа въ сознаніи, которыя пришли неизвѣстно откуда и исчезнутъ навсегда, быть-можетъ, не оставивъ послѣ себя никакого слѣда въ жизни, даже воспоминанія. Это «неясный бредъ» души всегда живой, всегда дѣятельной, но не всегда сознающей себя. Прихотливыя формы этой жизни, эти мгновенныя сочетанія ощущеній и чувствъ непрерывно возникаютъ въ душѣ и разсѣиваются, исчезаютъ подъ наплывомъ новыхъ впечатлѣній, подобно тому, какъ въ морѣ каждую минуту прежняя волна смѣняется новою. Никому недоступны эти глубокія, скрытыя области душевной жизни. Человѣкъ одинъ переживаетъ совершающееся въ нихъ, и минуты этой жизни такъ прихотливы и случайны, такъ своеобразны и независимы, что не могутъ служить никакимъ цѣлямъ, никакимъ отношеніямъ, не оказываютъ почти никакого вліянія тамъ, гдѣ человѣкъ дѣйствуетъ сознательно, гдѣ онъ живетъ съ другими людьми, гдѣ идетъ его жизненная дорога. Ничего внѣшняго, никакой дѣятельности, никакой борьбы, никакой драмы, не производятъ эти проходящія минуты одинокаго существованія человѣческой души, но въ нихъ погружена едва ли не болѣшая часть ея жизни. Фетъ сумѣлъ ввести въ поэзію эту область душевной жизни, сумѣлъ дать ей непосредственное выраженіе. У него сердце или иногда нервы говорятъ сами

отъ себя, говорятъ своимъ языкомъ, его стихотворенія — остановившіеся моменты дѣйствительной жизни души, а не тѣ обобщенія чувствъ и ощущеній, которыя встрѣчаются въ произведеніяхъ, выходящихъ изъ сознанія.

Вотъ одно изъ стихотвореній Фета въ этомъ родѣ:

Мѣсяцъ зеркальный плыветъ по лазурной пустынѣ.  
Травы степныя унизаны влагой вечерней.  
Рѣчи отрывистѣй, сердце опять суетвѣриѣи...  
Длинныя тѣни вдали потонули въ ложбинѣ.  
Въ этой ночи, какъ въ желаніяхъ, все безпредѣльно!  
Крылья растутъ у какихъ-то воздушныхъ стремленій,—  
Взялъ бы тебя и помчался бы также безцѣльно,  
Свѣтъ унося, покидая невѣрныя тѣни!  
Можно ли, другъ мой, томиться въ тяжелой кручинѣ?  
Какъ не забыть, хоть на время, язвительныхъ терній?  
Травы степныя сверкаютъ росой вечерней,  
Мѣсяцъ зеркальный бѣжитъ по лазурной пустынѣ...

Въ чемъ содержаніе этой мелодіи? Можно ли на языкѣ сознанія какимъ-либо словомъ назвать предметъ стихотворенія, то чувство или настроеніе, которое въ немъ выражено? Что это — радость, бодрость, мечтательность? Нѣтъ, всякое слово слишкомъ обще, слишкомъ бѣдно для того, чтобы выразить тѣ странныя минуты душевнаго настроенія, которыя свободно родились подъ впечатлѣніемъ лунной ночи, которымъ дѣла нѣтъ до того, что въ языкѣ не существуетъ словъ для ихъ названія и которыя нашъ поэтъ сумѣлъ уловить и закрѣпить въ своихъ стихахъ.

Еще лучше своеобразіе лирики Фета выяснится изъ сопоставленія какого-либо изъ его стихотвореній, въ которомъ не трудно опредѣлить источникъ вдохновенія, съ произведеніемъ другого поэта на тотъ же мотивъ. Едва ли не чаще всего лирическіе поэты вдохновлялись любовью, и стихи, посвященные этому предмету, можно найти у всякаго изъ нихъ. У графа А. Толстого, современника Фета, есть слѣдующее маленькое стихотвореніе:

Не вѣрь, мой другъ, когда въ избыткѣ горя  
Я говорю, что разлюбилъ тебя, —  
Въ отлива часъ не вѣрь измѣнѣ моря,  
Оно къ землѣ воротится любя.  
Ужъ я тоскую прежней страсти пояный,  
Мою свободу вновь тебѣ отдамъ, —  
И ужъ бѣгутъ съ обратнымъ шумомъ волны  
Позадека къ любимымъ берегамъ.

Припомните также другія стихотворенія этого автора: «Миѣ въ душу, полную ничтожной суеты», или извѣстное, какъ романсъ, «Средь шумнаго бала случайно». Какъ ни своеобразны мотивы этихъ произведеній, но всѣ они — обобщеніе сознанія, извлеченное изъ жизни души, всѣ они — поэтическое развитіе опредѣленной мысли или опредѣленнаго душевнаго состоянія. Въ первомъ изъ этихъ стихотворе-

ній—образъ морского прилива для выраженія приливовъ и отливовъ любви, во второмъ—образъ бури, опустошившей садъ, для изображенія души, надъ которою пронеслась страсть, въ третьемъ—эстетическое увлеченіе женщиной, еще лишь предчувствуемая любовь.

Рядомъ съ этимъ прочтите у Фета:

Тихая, звѣздная ночь.

Трепетно свѣтитъ луна.

Сладки уста красоты

Въ тихую, звѣздную ночь.

Другъ мой! въ сіяньи nocturno

Какъ мнѣ печаль превозмочь?

Ты же свѣтла, какъ любовь,

Въ тихую, звѣздную ночь.

Другъ мой, я звѣзды люблю —

И отъ печали не прочь...

Ты же еще мнѣ милѣй

Въ тихую, звѣздную ночь.

Несомнѣнно, это стихотвореніе также навѣяно любовью, но оно—не поэтической образъ для выраженія любви, какъ цѣльнаго чувства. Въ дѣйствительности существуютъ именно такія минуты, случайныя, сложныя. Но другіе поэты стремятся передать цѣльное, законченное чувство, очищенное въ сознаниі отъ всего мгновеннаго и случайнаго. Фетъ даетъ именно это мгновенное со всѣмъ его содержаніемъ, даетъ все то, что было въ душѣ въ изображаемую минуту, хотя оно и страннѣе и сложнѣе извѣстныхъ намъ чувствъ и не имѣетъ себѣ названія.

Чѣмъ можно объяснить эту связь звѣздной ночи, печали и «сладкихъ устъ красоты»? Откуда, зачѣмъ здѣсь эта печаль, что она дополняетъ въ изображаемомъ настроеніи? Отвѣтъ одинъ: все это связано жизнью личной души. Такъ было, и Фетъ сдѣлалъ это мгновеніе достояніемъ поэзіи, и вы чувствуете, что такъ могло быть.

Слѣдующее стихотвореніе также весьма характерно для Фета:

Люди спать; мой другъ, пойдемъ въ тѣнистый садъ!

Люди спать; однѣ лишь звѣзды къ намъ глядятъ,

Да и тѣ не видятъ насъ среди вѣтвей

И не слышать — слышитъ только соловей...

Да и тотъ не слышитъ: пѣснь его громка;

Развѣ слышатъ только сердце да рука:

Слышитъ сердце, сколько радостей земли,

Сколько счастья сюда мы принесли;

Да рука, услыша, сердцу говоритъ,

Что чужая въ ней пылаетъ и дрожитъ,

Что и ей отъ этой дрожи горячо,

Что къ плечу невольно клонится плечо...

И эта пьеска вообще можетъ быть отнесена къ разряду тѣхъ, которыя посвящены любви. Но и здѣсь авторъ не старается, подобно другимъ поэтамъ, высказать, какъ онъ любитъ, что для него эта любовь въ жизни, а даетъ только минуту изъ пережитаго—впечатлѣнія ночи, трепетъ рукопожатія, жаръ крови, ощущеніе принесеннаго счастья,—все, что было въ эту минуту въ сердцѣ.

Фетъ выражаетъ эти настроенія мгновеннаго во всей ихъ полнотѣ и своеобразности. Въ его поэзіи предъ нами не обглоданный

сознаніемъ остовъ чувства, но само это чувство, трепещущее, полное жизни. Фетъ схватываетъ и открываетъ въ своихъ стихахъ тѣ ощущенія, которыя дѣйствительно переживаетъ сердце, все то, что даетъ непостигнутая нами судьба, прихотливый случай. Его поэзія записная книжка сердца, которое вписываетъ туда странными знаками свою исторію. Исторія же каждаго сердца своеобразна и особенна, ее нельзя предсказать или построить изъ какихъ-либо данныхъ. Оттого поэзія Фета такъ нова и свѣжа, такъ неожиданна и самобытна. Оттого она кажется иногда загадкой, иногда какимъ-то внутреннимъ откровеніемъ.

*Бар. Дистерло.*

### **Природа и человѣкъ, какъ источники свободнаго и самобытнаго творчества Фета.**

Поэзія Фета вышла не изъ той области души, гдѣ рождаются мысли и сознательныя желанія, но изъ темныхъ нѣдръ ея, гдѣ самовольно и невѣдомо для сознанія работаютъ пныя силы—ощущенія и чувства. Этимъ основнымъ свойствомъ опредѣляются прочія особенности его творчества. Творчество это чуждо всего преднамѣреннаго, всякаго принужденія. Въ немъ отражается душа въ ея естественныхъ, совершенно свободныхъ движеніяхъ. Поэтъ высказываетъ въ своихъ стихахъ то, что было въ душѣ, что свободно родилось въ ней и само просится наружу, требуетъ выраженія, не заботясь о томъ, насколько это важно и значительно для людей, и представляя другимъ судить, интересны ли его произведенія. Поэзія Фета создалась органически: стихотворенія его не сдѣланы, но выросли изъ души поэта, какъ трава и цвѣты растутъ изъ почвы. Свободнѣе всего и прежде всего въ душѣ вырастаютъ тѣ сѣмена, которыя заброшены въ нее самою природой. Природа и человѣкъ, душа поэта и объемлющая его вселенная—этого довольно для поэзіи. Поэзія можетъ обойтись безъ людей, безъ общества, безъ тѣхъ интересовъ, стремленій и заботъ, которыя приносятъ жизнь общества. Поэзія Фета именно такова. Она черпаетъ свое содержаніе изъ природы, изъ впечатлѣній міра, окружающаго поэта, а не изъ общественной среды, не изъ людскихъ отношеній. Живи нашъ поэтъ одинъ на свѣтѣ, и тогда онъ могъ бы создать свою поэзію. Большинство его произведеній вызвано впечатлѣніями природы. При изданіи своихъ стихотвореній авторъ, соотвѣтственно ихъ содержанію, даже распредѣлялъ ихъ по такимъ отдѣламъ: «Вечера и Ночи», «Снѣга», «Весна», «Море» и пр. Правда, много стихотвореній посвящено у него также любви. Но любовь—врожденная способность сердца, потребность души, не умирающая и въ одиночествѣ, женщина же лишь то явленіе міра, на которое эта потребность направлена. Нигдѣ у Фета, какъ у поэта истинно-лирическаго, женщина не является ради нея самой, ради изображенія ея характера и жизни. Она только та часть

природы, тотъ предметъ внѣшняго міра, который способенъ пробуждать въ душѣ особенныя чувства и настроенія.

Въ своихъ произведеніяхъ Фетъ никогда почти не отзывался на общественные вопросы, на то, чѣмъ интересовались и волновались его современники. Въ этомъ смыслѣ поэзія его совершенно лишена признаковъ времени. То, чему она дала выраженіе, не зависитъ отъ эпохи и не мѣняется десятилѣтіями. Содержаніе ея составляетъ только вѣчное и общечеловѣческое.

Рѣдко какой поэтъ удерживался въ этой сферѣ исключительно внутренней жизни, независимой отъ общественныхъ событій. Если же мы припомнимъ при этомъ, что большая часть поэтической дѣятельности Фета выпадаетъ на то время, когда были совершены крупнѣйшія общественныя преобразованія, и когда интересъ къ дѣламъ общественнымъ отодвигалъ далеко назадъ прочія требованія жизни, то нельзя не удивляться необыкновенной самобытности и независимости творчества нашего поэта. Въ качествѣ помѣщика, мирового судьи или автора экономическихъ статей Фетъ заплатилъ дань суетѣ и злобѣ практической жизни, но свою поэзію никогда не выводилъ на площади и улицы, никогда не заставлялъ служить постороннимъ ей цѣлямъ. Поэзія сама была для него цѣлью, святыней, и, какъ поэтъ, онъ служилъ только ей. Онъ съ полнымъ правомъ могъ сказать про себя, обращаясь къ своей музѣ:

Заботливо храня твою свободу,  
Непосвященныхъ я къ тебѣ не звалъ  
И рабскому ихъ буйству я въ угоду  
Твоихъ рѣчей не осквернялъ.  
Все та же ты, завѣтная святыня,  
На облакѣхъ незримая землѣ,  
Въ вѣнцѣхъ изъ звѣздъ, нетлѣнная богиня,  
Съ задумчивой улыбкой на челѣ.

Если, однако, все то, на что отозвался Фетъ въ своей поэзи — природа, любовь, прошлое — само по себѣ вѣчно и независимо отъ времени, то отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы самая поэзія эта вовсе не имѣла свойствъ, характерныхъ для эпохи. Старый, вѣчный міръ отпечатлѣвалъ свой образъ въ душѣ поэта, но душа его — произведеніе времени. Она воспринимала и чувствовала жизнь по-своему, какъ не чувствовали ее раньше, какъ, можетъ-быть, не будутъ чувствовать ее потомъ. Поэтому и поэзія Фета, отраженіе міра его душой, является также характернымъ произведеніемъ времени.

Глубокая внутренняя отзывчивость на внѣшнія явленія, тонкость ощущеній, элегическій тонъ стихотвореній — все это дѣлаетъ его роднымъ намъ по духу, сыномъ той эпохи, которая произвела пейзажъ въ живописи и содѣйствовала необыкновенному развитію музыки. Было время, когда поэты оставались совершенно равнодушными къ природѣ, интересуясь только человѣческимъ (ложно-классическая литература), въ послѣдующую эпоху природа возбуждала, главнымъ

образомъ, воображеніе поэтовъ (романтики), въ ближайшее къ намъ время природа получила власть надъ сердцемъ человѣка, завладѣла его настроеніемъ. Эта способность души отзываться внутреннею жизнью на впечатлѣнія природы породила пейзажъ въ живописи, она же вызвала и особую лирическую поэзію — поэзію настроенія. Фетъ самый яркій представитель такой поэзіи. Онъ не созерцаетъ природу, не наслаждается красотой ея формъ, но чувствуетъ ее, живетъ сердцемъ подъ ея впечатлѣніями, уносится въ мечты и воспоминанія подъ ея обаяніемъ, точно подъ звуки симфоніи. Стихотворенія его не картинки природы, но пѣсни, вызванныя изъ души природой. Все въ природѣ говоритъ чуткому сердцу поэта — весна, ночь, звѣзды, лѣса и степи, сады, цвѣты и деревья — все заставляетъ звучать легкія струны его души. Вспомните, на примѣръ, «Первый ландышъ», «Ивы и березы», «Въ саду», или прочтите это стихотвореніе, навѣянное впечатлѣніями весны:

Еще весна. Какъ будто неземной  
Какой-то духъ ночнымъ владѣетъ са-  
домъ.

Иду я молча, медленно, и рядомъ  
Мой темный профиль движется со мной.  
Еще аллея не сумраченъ пріютъ,  
Между вѣтвей небесный сводъ синѣетъ,  
А я иду — душистый холодъ вѣетъ  
Въ лицо — иду — и соловьи поютъ...

Несбыточное грезится опять,  
Несбыточное въ нашемъ бѣдномъ мірѣ,  
И грудь вздыхаетъ радостнѣй и шире,  
И вновь кого-то хочется обнять.  
Придетъ пора, — и скоро, можетъ-быть,  
Опять земля взалкаетъ обновиться,  
Но это сердце перестанетъ биться  
И ничего не будетъ ужъ любить.

У Фета совсѣмъ нѣтъ произведеній безъ настроенія. Даже когда онъ, повидимому, только описываетъ какое-нибудь явленіе, и тогда его стихи проникнуты отголосками душевной жизни. Какъ дышитъ внутреннимъ настроеніемъ, на примѣръ, слѣдующее стихотвореніе:

Зрѣетъ рожь надъ жаркой нивой,  
И отъ нивы и до нивы  
Гонитъ вѣтеръ прихотливый  
Золотые переливы.  
Робко мѣсяцъ смотритъ въ очи,  
Изумленъ, что день не минулъ,

Но широко въ область ночи  
День объятія раскинулъ.  
Надъ безбрежной жатвой хлѣба  
Межъ заката и востока  
Лишь на мигъ смежаетъ небо  
Огнедышащее око.

Характерны также и самыя настроенія Фета. Это не сильныя, крѣпкія и опредѣленные чувства, проявившіяся у такихъ страстныхъ и мощныхъ натуръ, какъ, на примѣръ, Лермонтовъ, или у такихъ простодушныхъ поэтовъ, какъ Кольцовъ. Въ стихотвореніяхъ Фета — вся нервность, весь избытокъ чувствительности нашего времени. Его настроенія сложны, прихотливы, нѣжны и граціозны. Въ нихъ, какъ въ сердцѣ современнаго человѣка, необъяснимые переходы, неразрѣшимыя противорѣчія. Фетъ понимаетъ и муку счастья и радость страданья. Въ его поэзіи слышатся аккорды музыки Шопена или Шумана. Его душа полна жаждой жизни, хотя бы эта жизнь была

и печаль, и ничего такъ не жалѣеть, какъ прошлаго, невозвратнаго.

Недвижныя очи, безумныя очи,  
Зачѣмъ вы средь дня и въ часы полуночи  
Такъ жадно впередесь вдаль?  
Ужели вы въ томъ потонули минувшемъ,  
Давно и мгновенно предъ вами мелькнувшемъ,  
Котораго сердцу такъ жаль?  
Не высмотрѣтъ вамъ, чего нѣтъ и что было,  
Что сердце, тоскуя, въ себѣ схоронило  
На самое темное дно;  
Не вамъ допросить у случайности жадной,  
Куда она скрыла рукой безошадной.  
Что было такъ щедро дано.

Въ другомъ стихотвореніи поэтъ говоритъ: «сказать прости чему-нибудь душѣ казалось утратой»... Это сожалѣніе о минувшемъ, это чувство утраты составляетъ постоянный мотивъ въ творествѣ Фета и придаетъ его поэзіи задумчивый, элегическій характеръ.

Разнообразны и прихотливы минуты вдохновенія Фета, но и въ нихъ есть общее, есть внутренняя связь, подчиненіе цѣльной личности поэта. Поэтъ мгновеннаго, поэтъ одинокихъ настроеній, необыкновенно отзывчивый, тонко чувствующій и мечтательно преданный своей тоскѣ о минувшемъ — вотъ образъ Фета, вотъ общее впечатлѣніе его творчества. Къ этому образу можно прибавить еще одну черту, относящуюся уже къ области сознательной умственной жизни. Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній Фетъ говоритъ: «Лишь незаслуженное благо»... Эта мысль предполагаетъ опредѣленное міровоззрѣніе и можетъ быть основаніемъ для цѣлаго ряда выводовъ. Кто можетъ такъ думать, тотъ, очевидно, знаетъ тщету человѣческихъ усилій и стремленій. Никакая предусмотрительность, никакія заботы не могутъ предохранить человѣка отъ зла и дать ему благо. Истинное благо даетъ человѣку судьба, одаряя его при рожденіи добрыми качествами сердца и посылая ему въ жизни неожиданныя и незаслуженныя минуты блаженства. Приведенное выраженіе рисуется предъ нами поклонника судьбы, полнаго фаталиста. И не трудно замѣтить, что это покорное упованіе на судьбу какъ нельзя больше соотвѣтствуетъ всему внутреннему строю нашего поэта, чуждаго стремленій и дѣятельности и пассивно, хотя и жадно, ожидающаго впечатлѣній объемлющей его жизни.

Единственный матеріалъ поэзіи — слова. Какимъ же образомъ Фетъ высказываетъ такъ много завѣтнаго для души, когда языкъ безсиленъ для этого, когда слова — только роковая ложь?

Въ послѣднее время высказывалась иногда мысль, что лирическая поэзія — скорѣе музыка, чѣмъ литература, и что дѣйствіе ея обуславливается больше звуками стиха и рѣзкой, чѣмъ смысломъ словъ. Насколько эта мысль утверждаетъ значеніе стихотворной формы для лирики, она безспорна; но полное уподобленіе лириче-

ской поэзии музыки едва ли может быть защищено сколько-нибудь серьезно. Поэзия не располагает всѣмъ разнообразіемъ музыкальных средствъ и, съ другой стороны, имѣетъ свое особенное, характеризующее ее средство, не существующее въ музыкѣ, и это средство есть слово.

Слова покорны не одной только логикѣ разума, но и памяти сердца. Въ жизни сердца много неясныхъ и странныхъ минутъ, для которыхъ нѣтъ словъ. Но то, что породило эти минуты, или то, что имъ сопутствовало, иногда можетъ быть выражено посредствомъ словъ. Такимъ образомъ открывается косвенный путь для проявленія жизни сердца. Когда-то васъ взволновалъ моментъ разлуки, гдѣ-то случайно васъ плѣнило милое лицо, когда-то лунная ночь охватила васъ своимъ очарованіемъ, ваша душа, быть-можетъ, не разъ смутно грезила подъ звуки скрипки. Вызванныя всѣми этими причинами настроенія такъ своеобразны и чудны, такъ легки, воздушны и неустойчивы, что опредѣлить или описать ихъ въ словахъ невозможно. Но они способны возрождаться, когда душа находитъ знакомый образъ, черту былого, слово, связанное съ пережитымъ. Этимъ соотношеніемъ и можетъ пользоваться поэзія. Конечно, не всякій образъ и не всякое слово имѣетъ власть надъ душой. Такая сила принадлежитъ только поэтическому образу, и искусство создавать его есть дарованіе поэта. Фетъ владѣетъ этимъ искусствомъ въ высокой степени. Ему доступна тайная связь душевныхъ волненій съ нѣкоторыми порожденіями фантазій, съ сочетаніемъ словъ, иногда неожиданнымъ и страннымъ, съ музыкой рѣимы и, вводя въ свои стихотворенія эти образы и слова, мѣняя размѣръ и свободно распоряжаясь рѣимой, онъ трогаетъ пружины нашей души и своевольно пробуждаетъ въ ней чувства и настроенія.

Для примѣра прочтите прелестное и характерное для нашего поэта стихотвореніе:

Въ дымкѣ-невидимкѣ  
Выплыль мѣсяцъ вешній.  
Цвѣтъ садовый дышитъ  
Яблоню, черешней  
Такъ и льнетъ, цѣлѣя  
Тайно и нескромно...  
И тебѣ не грустно?  
И тебѣ не томно?

Истерзался пѣсней  
Соловей безъ розы.  
Плачетъ старый камень,  
Въ прудъ роняя слезы.  
Уронила косы  
Голова невольно...  
И тебѣ не томно?  
И тебѣ не больно?

Въ послѣдней части стихотворенія — три образа, повидимому, совершенно несвязанные между собою, странно сопоставленные. И, однако, посредствомъ ихъ авторъ внушаетъ вамъ щемящее, сладостно-томительное чувство весенней ночи.

Иногда поэтическое настроеніе пьесы сообщается какимъ-нибудь однимъ образомъ, на примѣръ въ томъ стихотвореніи, гдѣ, изображая обаяніе прежнихъ знакомыхъ звуковъ, авторъ говоритъ: «Точно изъ сумрака блѣдныя руки призраковъ нѣжныхъ манитъ за собой», или

тамъ, гдѣ онъ въ первой строкѣ восклицаетъ: «Какое счастье: и ночь, и мы одни!» и сразу вводитъ читателя въ страстно восторженный строй души.

Въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ поэтическое обаяніе производитъ даже не образы, а слова, которыя въ своемъ неожиданномъ сочетаніи полны какого-то особаго смысла. Такъ, въ небольшой пьескѣ «Цвѣты» есть слѣдующее четверостишіе:

Цвѣты глядятъ съ тоской влюбленной,  
Безгрѣшно чисты, какъ весна,  
Роняя съ пылью благовонной  
Плодовъ румяныхъ сѣмена.

Или припомните эти слова въ другомъ стихотвореніи:

Заря и счастье и обманъ!  
Какъ сладки вы душѣ моей!

Здѣсь нѣтъ поэтическаго образа, и мысль стихотворенія держатъ въ себѣ слова, подобранныя съ необъяснимымъ чутьемъ къ правдѣ внутренней жизни.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ мысль автора сосредоточивается даже какъ-будто въ одномъ словѣ или эпитетѣ. Напримѣръ, когда онъ говоритъ: «Надъ сердцемъ счастье *тяготъло*», или когда онъ толпу называетъ «слѣпцомъ стоокимъ». Но особенно характерно въ этомъ отношеніи то произведеніе, гдѣ, говоря о томъ, что каждое чувство бываетъ понятнѣе ночью, авторъ поясняетъ, что онъ чувствуетъ это тогда, когда, лежа неподвижно съ книгой въ рукахъ, онъ пробѣгаетъ въ умѣ «*все невозможно-невозможное, странно-бывалое*»...

Наконецъ, иногда настроеніе пьесы больше всего передается своеобразнымъ размѣромъ и музыкою стиха. Напримѣръ, въ произведеніяхъ:

Какая ночь! на всеъ какая пѣга!

Или:

Зеркало въ зеркало, съ трепетнымъ лепетомъ,  
Я при свѣчахъ навела.  
Въ два ряда свѣтъ — и таинственнымъ трепетомъ  
Чудно горять зеркала, и т. д.

Въ этомъ послѣднемъ отношеніи, то-есть въ искусствѣ стихосложенія, Фетъ удивительный и неподражаемый мастеръ. Разнообразие размѣра, звучность и оригинальность рима, гибкость, изящество стиха и соотвѣтствіе его внутреннему содержанію — по истинѣ изумительны у Фета. Безъ преувеличенія можно сказать, что этими качествами онъ превосходитъ всѣхъ лирическихъ поэтовъ.

Истинный поэтъ по содержанію своего творчества, писатель блестящимъ образомъ преодолевшій трудности художественнаго выраженія, изящный по формѣ и давшій русской литературѣ рядъ

произведеніи, замѣчательныхъ своею оригинальностью и самобытностью, Фетъ не пользуется, однако, расположеніемъ большого круга читателей. Не трудно предвидѣть, что онъ и не будетъ любимымъ поэтомъ читающей массы. Чтобы привлечь эту массу, ей непременно нужно сказать что-нибудь важное для практической жизни. Въ поэзи Фета нѣтъ ни политическихъ ни нравственныхъ идей, на которыя всего сильнѣе отзывается толпа. Достоинства же чисто художественныя сами по себѣ не даютъ широкой извѣстности.

Въ такой судьбѣ писателя нѣтъ ничего удивительнаго, да нѣтъ и ничего грустнаго. Не всѣмъ нравится одно и то же, и не въ томъ больше всего красоты, что нравится самому большому количеству людей. Каждый авторъ имѣетъ свою публику. Имѣетъ свою публику и Фетъ. И тотъ, кто испыталъ хоть разъ обаяніе его поэзи, съ наслажденіемъ будетъ читать и перечитывать его стихотворенія и, перечитывая, находитъ въ нихъ все больше смысла и чарующей прелести. Тѣ движенія сердца, которыя вдохновляли Фета на творчество, можетъ-быть, интересны для немногихъ людей. Но отъ этого значеніе его творчества не уменьшается. Предъ искусствомъ одинаковая заслуга—выразить мысль или выразить настроеніе или чувство.

*Бар. Дистерло.*

### **Картины природы въ произведеніяхъ Фета.**

Мы думаемъ, что въ русской лирической поэзи имя Фета будетъ занимать значительное мѣсто.

Правда, что онъ не положилъ новыхъ путей, которые раскрыты были намъ Пушкинымъ, Лермонтовымъ и Тютчевымъ, но, какъ поэтъ ощущеній и какъ самобытный, оригинальный талантъ, онъ далъ почувствовать въ тѣхъ знакомыхъ уже намъ поэтическихъ пространствахъ множество превосходныхъ подробностей и частныхъ, оставшихся доселѣ скрытыми. Литературу называютъ обыкновенно выраженіемъ общества, зеркаломъ, гдѣ въ сосредоточенномъ видѣ отражается нравственное состояніе общества. Это правда; но не забудемъ также, что высшее развитіе литературы, цвѣтъ ея — есть искусство, а прямое дѣйствіе искусства, прежде всего, — недостиженіе тѣхъ или другихъ полезныхъ цѣлей, а духовное наслажденіе, которое оно даетъ человѣку большей или меньшей степени поэтическаго чувства въ чело-лѣкѣ. Писатель, который не даетъ почувствовать поэзію природы, не въ силахъ дать почувствовать ее и въ человѣческой жизни, ибо природа есть первоначальное средство, орудіе для откровеніи души. Каждое движеніе души нашей точно такъ же, какъ и каждый предметъ въ живои природѣ, — если мы настоящимъ образомъ всмотримся въ нихъ, — суть какъ бы отверстія, сквозь которыя открывается намъ даль, уходящая до безконечности. Вотъ почему душа такъ отрадно и свободно чувствуетъ себя въ природѣ: это ея первоначальная,

родная страна. Чувство природы у г. Фета наивное, свѣтлое, младенчески-радостное, можно сравнить только съ чувствомъ первой юношеской любви. Въ самыхъ обыденныхъ явленіяхъ природы онъ умѣетъ подмѣчать тончайшіе мимолетные оттѣнки, ээирные полутоны, недоступные для живописи и которые можетъ воспроизводить одна только поэзія слова — и никакая другая.

Ночью какъ-то вольнѣ дышать мѣ,  
Какъ-то просторнѣй, —  
Даже въ столицѣ не тѣсно.  
Окна растворишь —  
Тихо и чутко

Плыветъ прохладительный воздухъ...

А небо? а мѣсяцъ?

О. Этотъ мѣсяцъ волшебникъ!

Какъ будто бы кровли

Покрываютъ зеркальнымъ стекломъ,

Шпили и кресты — бриліанты;

А тамъ, за луной небосклонъ,

Чѣмъ дальше — свѣтлѣй и прозрачнѣй:

Смотришь — и дышишь,

И слышишь дыханье свое,

И бой отдаленный часовъ,

Да крикъ часового,

Да изрѣдка стукъ колеса,

Или пѣніе вѣстника утра.

Вмѣстѣ съ зарею и сонъ налетаетъ на вѣжды,

Свѣтель, какъ призракъ,

Голову клонить, а жаль отъ окна оторваться!

Поэзія г. Фета есть, прежде всего, поэзія, такъ сказать, интимная, младенчески-простодушная, — и здѣсь, между прочимъ, одна изъ причинъ, почему она не можетъ надѣяться на всеобщее и громкое участіе. Тихія, глубокія ощущенія, которыя проходятъ по душѣ, когда вы стоите на широкомъ лугу и смотрите на заходящее солнце, отъ котораго золотится и словно въ какомъ-то умиленіи таетъ окружающій лѣсъ, — вѣдь объ этихъ ощущеніяхъ даже и рассказать нечего а, между тѣмъ, вы перечувствовали тутъ сладчайшія струи, заливавшія вашу грудь невыразимымъ блаженствомъ. Вообще, поэзія ощущеній, какъ все задушевное, робка и стыдлива; она любитъ уединеніе и молчаніе, и потомъ — увы! — рѣдко слетаетъ къ намъ, а если когда и слетаетъ, — какъ выразить ее, какъ высказать то, что, безъ всякой очевидной для другихъ причины, такъ сладостно, глубоко и безмѣрно вдругъ охватило вашу душу? Кто переживалъ такія минуты, одинъ съ природою, въ тихій лѣтній вечеръ, тотъ пойметъ, сколько неуволимыхъ душевныхъ ощущеній чувствуется въ этихъ немногихъ стихахъ, которые для иныхъ, пожалуй, могутъ показаться безсвязнымъ лепетомъ:

Шопоть. Робкое дыханье.

Трели соловья.

Серебро и колыханье

Соннаго ручья.

Свѣтъ ночной. Ночныя тѣни,

Тѣни безъ конца.

Рядъ волшебныхъ измѣненій

Милаго лица.

Въ дымныхъ тучкахъ пурпуръ розы,

Отблескъ янтаря,

И лобзанія, и слезы, —

И заря, заря!...

Вотъ истинно лирическій, безыскусственный порывъ души, очарованный природою! Чувствуешь, что для г. Фета вся эта совокупность явленій природы есть дѣйствительно что-то живое, цѣльное, задушевно-любимое —

Рядъ волшебныхъ измѣненій  
Милаго лица!

Интимной назвали мы поэзію г. Фета: чтобы чувствовать ея прелесть, надобно любить природу, такъ сказать, семейной любовью, любить въ ея обыденныхъ явленіяхъ, въ ея тихой, скромной красотѣ. Вслѣдствіе привычки и рутины, мы видимъ въ природѣ одну только нимало неинтересную ежедневность. Не даромъ Шекспиръ называетъ привычку чудовищемъ! Но, тѣмъ не менѣе, коренныя начала жизни не умираютъ въ насъ: чѣмъ же иначе объяснимъ мы эту всеобщую симпатію къ искусствамъ, которыхъ прямое дѣйствіе и состоитъ именно въ томъ, чтобы отрывать насъ отъ рутины и привычки и возвращать къ основнымъ началамъ нашей духовной жизни — къ поэзіи и красотѣ. Не здѣсь ли заключается причина того нравственнаго удовлетворенія, той внутренней гармоніи, какія производятъ въ насъ истинныя произведенія искусства? Г. Фетъ не старается описывать природу, не вдается въ подробности; двѣ, три черты схвачены изъ общей картины «милаго лица», — но всегда такія, которыя тотчасъ передаютъ тонъ, пробуждаемый ею въ душѣ; душевное ощущеніе гармонически сливается съ природою и только въ ней, въ ея безконечности находитъ свое выраженіе. Вотъ, напримѣръ, лунная ночь въ степи:

Теплымъ вѣтромъ потянуло.  
Смолкъ далекій гулъ.  
Поле тусклое уснуло,  
Гуртовщикъ уснулъ.  
Въ загородкѣ улеглися  
И жуютъ волю.  
Звѣзды чистыя зажглися  
По навѣсу мглы.

Только выше все всплываетъ  
Мѣсяць золотой,  
Только стадо обѣгаетъ  
Песь сторожевой.  
Рѣдко, рѣдко кочевая  
Тучка бросить тѣнь...  
Неподвижная, нѣмая  
Ночь свѣтла, какъ день.

Г. Фетъ не даромъ говоритъ:

Каждое чувство бываетъ понятнѣй мнѣ ночью, и каждый  
Образъ пугливо нѣмой дольше трепещетъ во мглѣ.

На вечеръ и ночь всего симпатичнѣй отзывается его душа; его вечернія мелодіи исполнены необыкновенной тишины и спокойствія: онѣ чувствуются въ самой мелодіи стиховъ и ритма; тихое, кроткое теченіе звуковъ, какъ въ музыкальномъ постигну:

Лѣтній вечеръ тихъ и ясенъ;  
Посмотри, какъ дремлютъ ивы!  
Западъ неба блѣдно-красенъ,  
И рѣки блестятъ ививы.

Отъ вершинъ, скользя къ вершинамъ,  
Вѣтръ ползетъ лѣсною высью;  
Слышишь ржанье по долинамъ:  
То табуны несется рысью.

Хотя г. Фетъ, преимущественно воспроизводя впечатлѣнія природы на свою душу, рѣдко вдается въ описаніе природы, но, тѣмъ не менѣе, онъ умѣетъ мастерски рисовать: какая пейзажная живопись передаетъ, напримѣръ, эту яркую, сверкающую картину Днѣпра въ половодье, гдѣ, среди воздушно зеленѣющихъ тоновъ залитаго

пространства, надъ сонной влагою бѣлѣютъ цвѣтуція яблони, трепещутъ ивы—

И подъ лобзанія немолкнувшей струи,  
Пѣвцы, которымъ лѣсъ да волны лишь внимали,  
Съ какой-то нѣгою задорной соловьи  
Пустынный воздухъ раздражали...

Какъ на примѣръ описательной манеры г. Фета не можемъ также не указать на «Степь вечеромъ», гдѣ удивительно схвачена блѣднѣющая постепенность вечернихъ тоновъ природы, тихо, незамѣтно переходящихъ въ ночные тоны; отъ этой картины вѣетъ вечернею, влажною свѣжестью:

Клубятся тучи, млѣя въ блескъ аломъ.  
Хотятъ въ росѣ понѣжиться поля.  
Въ послѣдній разъ за третьимъ переваломъ  
Пропалъ ямщикъ, звеня и не пыля.  
Нигдѣ жилья не видно на просторѣ,  
Вдали огня иль пѣни— и не ждешь...  
Все степь да степь. Бездрежная, какъ море,  
Волнуется и наливаетъ рожь.  
За облакомъ, до половины скрыта,  
Луна свѣтитъ еще не смѣетъ днемъ.  
Вотъ жукъ взлетѣлъ и прожужжалъ сердито.  
Вотъ лунь проплылъ, не шевеля крыломъ.  
Покрылись нивы сѣтью золотистой,  
Тамъ перепелъ откликнулся вдали,  
И слышу я въ изложинѣ росистой  
Вполголоса скрипять коростели... и проч.

Отдѣлъ въ книжкѣ г. Фета подъ названіемъ «Вечера» и «Ночи» заключаетъ въ себѣ нѣсколько самыхъ привлекательныхъ, самыхъ мелодическихъ картинъ ночи. Картинъ,— сказали мы,— но это слово не выражаетъ нашей мысли,— въ нихъ чувствуются тѣ глубокія, нѣмыя ощущенія, которыя пробуждаетъ въ душѣ нашей лунная ночь, чувствуется то, что, будучи незнаемо и недумаемо человѣкомъ, бродитъ ночью по таинственному лабиринту груди его<sup>1)</sup>). Большая часть поэтическихъ мелодій г. Фета внушены ему вечеромъ или ночью, и, что замѣчательно, каждая изъ нихъ имѣетъ само-бытный колоритъ, въ каждой слышенъ особенный тонъ ощущеній. Видно, что каждое изъ стихотвореній этихъ дѣйствительно пережито, а это лучше всего доказываетъ, что каждая мелодія не выдумывалась, а невольно выливалась изъ глубоко-возбужденнаго чувства, и что въ немъ одномъ заключался основной мотивъ ея. Г. Фетъ прежде всего поэтъ ощущеній: вотъ почему такъ трудно

<sup>1)</sup> Was dem Menschen nicht bewusst  
Oder nicht gedacht  
In das Labyrinth der Brust  
Wandelt in der Nacht.

объяснить поэтическія достоинства его. Всякаго другого поэта, если въ произведеніяхъ его участвуетъ мысль, — можетъ, посредствомъ мысли же и размышленія, понимать (мы разумѣемъ тутъ содержаніе) всякій человѣкъ, даже не имѣющій ни малѣйшей поэтической струи въ душѣ; въ г. Фетѣ такой человѣкъ ничего не увидитъ. И это, кажется, потому, что мысль есть не частная, не личная, а общая наша сфера, — мысль можно разъяснить, растолковать и понять; въ сферѣ чувства и ощущеній не то: они часто индивидуальны, своеобразны; понять ощущеніе, которое не испыталъ самъ, почти невозможно.

Вотъ почему поэзія г. Фета требуетъ прежде всего симпатической настроенности съ нею, требуетъ натуръ, которыя по внутреннему опыту знакомы съ этимъ міромъ ощущеній, словомъ — требуетъ поэтической природы въ читателѣ. Тогда ясны будутъ и достоинства поэзіи его, происходящія именно отъ правдивости и полноты уловляемыхъ имъ душевныхъ ощущеній. Прибавимъ также, что для того, чтобы наслаждаться поэзіей г. Фета, — ей надобно кое-что прощать: г. Фетъ рѣдко бываетъ полнымъ художникомъ; при самой поэтической вѣрности мотива стихотвореніе выходитъ иногда у него слабо, полнота общаго впечатлѣнія нарушается иногда неточнымъ сравненіемъ или излишнею длиннотою. Вообще, строгая художественная обработка не въ свойствѣ таланта г. Фета. Какъ въ лирическую минуту пьеса изливается изъ души его, — такую она и остается; правда, что отъ этого происходитъ и изумительная свѣжесть и электризующее впечатлѣніе ихъ; но отсюда же и частые недостатки въ художественной формѣ. А потомъ удовольствіе, доставляемое поэзіей вообще, очень много зависитъ отъ расположенія и примчивости нашего духа. Въ этомъ отношеніи поэзія и музыка имѣютъ въ себѣ много родственнаго. Немного такихъ поэтовъ, которые могущественно, даже противъ воли, увлекаютъ васъ въ сферу своихъ созерцаній; для бѣльшей части поэтовъ необходимо, чтобы душа читателя была настроена на одинъ тонъ съ поэтическимъ произведеніемъ: только въ такія минуты оно становится вполне понятно. Изъ всѣхъ родовъ поэзіи, лирическая требуетъ въ этомъ отношеніи особенной деликатности отъ читателя и, кромѣ того, она требуетъ еще легко возбуждаемаго внутренняго созерцанія, которое могло бы тотчасъ переноситься въ сферу душевныхъ ощущеній читаемаго поэта. Съ кѣмъ не случалось, что стихотвореніе, которое ни разу не останавливало вашего особеннаго вниманія, — въ иную минуту случайно встрѣченное или услышанное вами вдругъ раскрывается передъ вами въ совершенно новомъ свѣтѣ и значеніи, какихъ мы прежде не подозрѣвали въ немъ. Въ этомъ отношеніи лирическія стихотворенія можно сравнить съ расписными окнами готическихъ храмовъ: если смотрѣть на нихъ снаружи, съ шумной прохожей дороги — какими темными, смутными кажутся они! Но войдите внутрь зданія, и эти прежде смутныя, темныя очерки заблестятъ яркими

переливами цвѣтныхъ тоновъ, разольютъ въ самые отдаленные своды зданія тихій радужный свѣтъ, мерцающій на утопающихъ въ мистическомъ сумракѣ какихъ-то зыблущихся образахъ... Поэзія душевныхъ ощущеній и мимолетныхъ явленій природы, какъ у г. Фета, по самому существу своему интимная, требуетъ отъ читателя глубокаго чувства природы, требуетъ фантазіи, легко отдѣляющейся отъ практической дѣйствительности, и можетъ быть настоящимъ образомъ оцѣнена только въ минуты романтическаго расположенія духа, когда ничто житейское не тревожитъ васъ, когда глаза ваши съ какимъ-то задушевымъ стремленіемъ вглядываются въ голубой блескъ неба, въ нѣжные, зеленые переливы луга и лѣса, въ прозрачные, задумчивые тоны вечера, и груди становится тѣсно отъ безчисленныхъ, непреодолимыхъ стремленій, поднимающихся со дна души вашей: въ такія минуты раскройте книжку г. Фета, и вы поймете ея поэзію...

Мы полагаемъ, что для людей, чувствующихъ поэзію, слабыя стороны, встрѣчающіяся въ произведеніяхъ г. Фета, нисколько не помѣшаютъ видѣть совершенно самостоятельное, рѣдкое достоинство его таланта. Послѣ Пушкина и Лермонтова, мы не знаемъ ни одного поэта, у кого бы поэтическое чувство било такимъ свѣжимъ и чистымъ ключомъ. Иногда, онъ самъ не въ состояніи выразить его соответствующимъ образомъ, впадаетъ въ темноту и неопредѣленность.

О, если бъ безъ слова  
Сказаться душой было можно!

тоскливо восклицаетъ онъ въ одномъ изъ такихъ стихотвореній; но зато часто льется оно у него, сверкая своими электризующими искрами и сохраняя всю прозрачность своей глубины. Говоря о томъ, съ какою симпатичностью и тонкостью воспроизводитъ онъ тихія картины вечера и ночи, мы забыли указать на одну изъ такихъ картинъ, фантастически-величавую, напоминающую дышащія тишиной и успокоеніемъ пейзажи Клода Лоррена, съ ихъ колоссальными портиками, на ступеняхъ которыхъ догораютъ лучи заходящаго солнца.

Растутъ, растутъ причудливыя тѣни;  
Въ одну сливаясь тѣнь.  
Ужъ позлатилъ послѣднія ступени  
Перебѣжавшій день.  
Что звало жить, что силы горячило,  
Далеко за горой.  
Какъ призракъ дня, ты, блѣдное свѣтило,  
Восходишь надъ землей,  
.....  
Лишь ты одно скользишь стезей лазурной,  
Недвижно все окрестъ,  
Да сыплеть ночь своей бездонной урной  
Къ нимъ мириады звѣздъ.

Между стихотвореніями г. Фета есть отдѣлъ подъ названіемъ «Снѣга». Это — картины зимы и впечатлѣнія зимней природы. Каждое

время года отзывается въ насъ свойственными ему поэтическими звуками. Всякая чуткая душа знаетъ эти звуки. Какъ истинный другъ природы, г. Фетъ любитъ ее не въ одной только великолѣпной одеждѣ, — и зимою, и въ печальномъ снѣжномъ покровѣ она прекрасна для него:

Печальная береза  
У моего окна,  
И прихоть мороза  
Разубрана она.

Какъ гроздья винограда,  
Вѣтвей концы висятъ,  
И радостень для взгляда  
Весь траурный нарядъ. и пр.

Но съ особенною горячностью отзывается чуткая душа его весеннимъ впечатлѣніямъ. Поэтъ свѣтлыхъ, кроткихъ, наивно-радостныхъ движеній души, г. Фетъ удивительно передаетъ свѣжесть и томительное обаяніе весеннихъ ощущеній, то чувство духовнаго опыяненія, которое весною струится во всей природѣ и бессознательно охватываетъ насъ:

Ужъ верба вся пушистая  
Раскинулась кругомъ;  
Опять весна душистая  
Повѣяла крыломъ.  
Станицей тучки несутся,  
Тешо озарены;

И въ душу снова просятся  
Плѣнительные сны.  
Какой-то тайной жаждою  
Мечта распалена,  
И надъ душою каждою  
Проносится весна.

Г. Фетъ рѣдко вдается въ описаніе природы: онъ или создаетъ свой образъ, идеальное отраженіе природы, которое мгновенно переноситъ ее въ наше внутреннее созерцаніе, или такъ уловляетъ впечатлѣніе природы на нашу душу, что это самое впечатлѣніе служитъ глубокой характеристикой извѣстному явленію въ природѣ. Вотъ, на примѣръ, еще выраженіе того же весенняго чувства:

Снова птицы летятъ издалека  
Къ берегамъ, расторгающимъ ледъ.  
Солнце теплое ходитъ высоко  
И душистаго ландыша ждетъ.

Снова въ сердцѣ ничѣмъ не умѣришь  
До ланитъ восходящую кровь,  
И душою подкупленной вѣришь,  
Что, какъ міръ, безконечна любовь. и пр.

Въ прелестной пьесѣ «Больной» есть стихи, схватывающія душу неодолимою жаждою весенняго солнца и воздуха:

На стѣны онъ кругомъ смотрѣлъ, какъ на тюрьму,  
Онъ обращалъ къ окну горящія зѣницы.  
И свѣта Божьяго хотѣлося ему,  
Хотѣлось воздуха, которымъ дышать птицы.  
А тамъ, за стеклами, какъ чуткій сонъ легки,  
Съ востока яркаго все шире дни легли... и пр.

Остановимъ вниманіе читателя на этихъ двухъ послѣднихъ стихахъ: кромѣ того, что въ нихъ превосходно схвачено первое движеніе весны въ зимней природѣ, — на нихъ еще лежитъ печать оригинальной лирической манеры г. Фета. Манера эта состоитъ

въ стремительномъ полетѣ фантазіи, воспроизводящей не столько самые предметы, возбудившіе ее, сколько ихъ идеальное отраженіе. Иногда г. Фетъ, набрасывая общія черты предмета, вдругъ, словно преображаетъ его, вознося въ какую-то лучезарную сферу, въ которой формы предмета теряютъ свою пластическую опредѣленность и улетучиваются въ воздушный, неуловимый для осязанія образъ: предметъ остается тотъ же, — онъ только просвѣтлѣлъ и одухотворился; дѣйствительность составляетъ въ немъ основной тонъ, его корень, но цвѣтокъ этого корня развернулся въ высшей, идеальной атмосферѣ. Такъ, лѣтняя, свѣтлая петербургская ночь принимаетъ у него одухотворенный, идеальный образъ ясновидящей:

Какъ будто среди дня, замолкнувши мгновенно,  
Царица сѣвера спала  
Подъ обаяньемъ сна горда и неизмѣнна,  
И надъ громадой ночь блѣдна и вдохновенна,  
Какъ ясновидящая шла.

Въ лирической, да и во всякой поэзіи, не должно быть ничего жесткаго, отвердѣвшаго, ничего непроницаемаго для нашей фантазіи.

«Nur ein Hauch sei dein Gedicht», — пусть стихотвореніе твое будетъ однимъ дыханіемъ, — говорилъ Гёте; каждый образъ долженъ, такъ сказать, таять въ нашемъ внутреннемъ созерцаніи, улетучиваться въ воздушную перспективу... Между весенними стихотвореніями г. Фета есть одно удивительное по огненному лиризму чувства, это — картина утренняго весенняго лѣса, — яркая, кипящая всѣми весенними соками природы:

Я пришелъ къ тебѣ съ привѣтомъ,  
Разказать, что солнце встало,  
Что оно горячимъ свѣтомъ  
По листьямъ затрепетало;

Разказать, что лѣсъ проснулся,  
Весь проснулся вѣткой каждой,  
Каждой птицей встрепенулся  
И весенней полною жаждой!

Подобнаго лирическаго весенняго чувства природы мы не знаемъ во всей русской поэзіи! Въ этихъ немногихъ стихахъ чувствуется то ликующее праздничное, чѣмъ именно дышитъ ясное весеннее утро, чувствуется вся млѣющая жажда медоваго мѣсяца природы. Въ первоначальномъ своемъ видѣ это стихотвореніе имѣло еще нѣсколько стиховъ, исключенныхъ теперь въ новомъ изданіи. Они, можетъ-быть, и слабы въ художественномъ отношеніи, но въ нихъ заключается одна очень характерная черта, много объясняющая намъ въ талантѣ г. Фета. Стихотвореніе это оканчивалось такъ:

Разказать, что отовсюду  
На меня весельемъ вѣетъ,

Что не знаю самъ, что буду  
Пѣть, но только пѣсня зрѣть...

Видите: поэтическій огонь охватилъ его душу; какіе-то звуки смутно бродятъ въ чувствѣ его, но онъ самъ не знаетъ, въ какую мелодію сольются они, онъ самъ не знаетъ, что будетъ пѣть; его

сознаніе не въ силахъ овладѣть поэтическимъ стремленіемъ, поднимающимся со дна души его, направить его по своей волѣ; зрѣеть какая-то пѣсня, — но онъ еще ничего не знаетъ о ней... Въ этихъ стихахъ самое лучшее истолкованіе таланта г. Фета, всѣ самородныя, увлекательныя и всѣ слабыя стороны его поэзіи объясняются ими. Его поэзія, какъ эолова арфа, изъ которой иногда пустой вѣтеръ можетъ извлекать самыя гармоническіе звуки... *Боткинъ.*

### Антологическія стихотворенія Фета.

Въ настоящее время, при распространившемся изученіи греко-римской жизни и ея произведеній, вошло въ обыкновеніе писать пьесы античнаго или мифологическаго содержанія. Но этотъ родъ поэзіи вовсе не такъ легокъ, какъ обыкновенно предполагаютъ. Если для поэзіи требуется прежде всего искренность и правдивость чувства, то какая же можетъ быть правдивость тамъ, гдѣ человѣкъ нашего времени станетъ усиленно воображать себя древнимъ грекомъ или римляниномъ, и посредствомъ книжнаго изученія воспроизводить ихъ воззрѣнія на природу и на явленія жизни? Такого рода воспроизведенія, при всемъ ихъ научномъ достоинствѣ, непременно будутъ холоднымъ и пустымъ перечнемъ античныхъ понятій и мифологическихъ божествъ, какими бы звучными эпитетами они ни были приправлены. Безотчетное наслажденіе жизнью, самое живое, искреннее чувство природы, тонкое чувство формы, отражающееся въ яркой изобразительности предметовъ, младенческая ясность воззрѣнія, не возмущаемая никакими нравственными вопросами, наконецъ, наивная внимательность къ каждой подробности предмета и тщательное ея воспроизведеніе, а главное — зоркость глаза, умѣющаго подмѣтить красоту въ каждомъ явленіи, — вотъ, кажется намъ, условія антологическаго рода. Безъ нихъ никакой наборъ названій мифологическихъ божествъ не приблизитъ поэта къ античному воззрѣнію. Но условія эти вытекаютъ, прежде всего, изъ самой природы поэта, и чрезъ нее только этотъ родъ поэзіи пріобрѣтаетъ свою искренность и правдивость, необходимыя для поэтическаго произведенія. Посмотрите, на примѣръ, какая рельефная изобразительность въ этой картинѣ, которая такъ ярко рисуется передъ вами, что стоитъ только снять ее на полотно:

Влажное ложе покинувши, Фебъ златокудрый направилъ  
Быстрыхъ коней, Фаетонову гибель, за розовый Эосъ;  
Круто напрягши бразды, онъ кругомъ озирался, и тотчасъ  
Бойкіе взоры его устремилъ на берегъ пустынный.  
Тамъ воскурялся туманъ благовонною жертвою; море  
Тихо у желтыхъ песковъ почивало; разбитая лодка,  
Дномъ опрокинута вверхъ, половиной въ водѣ, половиной  
Въ утреннемъ воздухѣ, темной смолою чернѣла — и тутъ же,  
Влѣво, разбросаны были обломки еловые весель,

Кожаный щитъ и шеломя опрокинутый, полные тины.  
 Дальше, когда поразсѣялись волны тумана сѣдого,  
 Онъ увидаль на травѣ, подъ зеленымъ навѣсомъ каштана,  
 (Трижды его обѣжавши, лоза окружала кистями)  
 Юношу онъ на травѣ увидаль; бѣлоснѣжные члены  
 Были раскинуты, правой рукою, какъ-будто, тѣснилъ онъ  
 Грудь, и на ней-то прекрасное тѣло недвижно лежало.  
 Лѣвая навзничь упала, и бѣлыя формы на темной  
 Зелени травъ благовонныхъ во всей полнотѣ рисовались;  
 Весь былъ разодранъ хитонъ, округленныя бедра бѣлѣли,  
 Будто бы мраморъ, пріявшій изгибы отъ рукъ Праксителя,  
 Ноги казали свои пскровенныя прахомъ подошвы,  
 Свѣтлыя кудри чела упали на грудь, осѣняя  
 Мертвую силу лица и глубоко смертельную язву.

Въ этой картинѣ каждый образъ, каждая подробность — словно изваяны; нѣтъ эпитета, который не поражалъ бы своею вѣрностью. Если бъ мы не боялись утомить вниманія читателя, мы выписали бы здѣсь нѣсколько образцовыхъ антологическихъ стихотвореній г. Фета: „Вакханку“, „Съ корзиной, полною цвѣтовъ, на головѣ“, „Въ златомъ сіяніи лампы полусонной“. Любители поэзіи могутъ сами прочесть ихъ въ книжкѣ его. Но перлъ антологической поэзіи — есть его „Діана“. Никогда еще нѣмая поэзія ваиянія не была прочувствована и выражена съ такою силою. Въ этихъ стихахъ мраморъ дѣйствительно исполнился какой-то невѣдомой, таинственной жизнью: чувствуешь, что окаменѣлыя формы преобразуются въ воздушное видѣнье. Читая это стихотвореніе, понимаешь то чувство, какое ощущалъ древній грекъ, смотря на изваянія олимпійскихъ боговъ своихъ, созданныхъ великими художниками. Гёте рассказываетъ въ своихъ римскихъ письмахъ, какъ старушка, жена сторожа въ палаццо Джустиніани, гдѣ находилась знаменитая античная статуя Минервы, объясняла ему, что эта статуя была нѣкогда священнымъ изображеніемъ, но что и въ наше время сохранились еще люди этой вѣры, которые приходятъ поклоняться ей и даже цѣлуютъ у ней руку. Видя, что Гёте долго и пристально смотрѣлъ въ лицо статуи — старушка заключила, что вѣрно у него есть любезная, похожая на лицо статуи. „Добрая женщина“, замѣчаетъ Гёте, „знала только два чувства — поклоненіе и любовь, и никакого понятія не имѣла о чистомъ удивленіи, о братскомъ энтузіазмѣ человѣческаго духа къ великому созданію“. Не даромъ же древніе греки говорили, что умереть, не видѣвъ Фидіасова Юпитера Олимпійскаго, — есть величайшее несчастье. Что это, какъ не страстный и наивный восторгъ чувства, постигающаго совершеннѣйшее созданье искусства? Въ этомъ мраморномъ изваяніи предстоялъ имъ обоготворенный человѣческій образъ, въ которомъ сосредоточилось все высочайшее достоинство, все внушающее поклоненіе и любовь; одухотворенный человѣческій образъ, возвысившій челоуѣка до божества. Увы! и созданное Фидіасомъ великое изображеніе и вся древняя жизнь съ ея удивительнымъ олимпійскимъ міромъ, — навсегда исчезли, но чарующее эхо этой младенческой эпохи

человѣчества до сихъ поръ обаятельно отзывается въ насъ и всегда будетъ сладостно человѣку, какъ сладостно ему смутное воспоминаніе о его младенческихъ лѣтахъ. Вся невыразимая прелесть Гомера заключается въ этомъ. Какъ бы обѣднѣла и усохла духовная жизнь наша, если бъ лишена была этихъ обаятельныхъ внутреннихъ отголосковъ древности и среднихъ вѣковъ, — нашего младенчества и нашей юности! Признаемся, мы не знаемъ ни одного произведенія, гдѣ бы эхо исчезнувшаго, невозвратнаго языческаго міра отозвалось съ такою горячностью и звучностью, какъ въ этомъ идеальномъ, воздушномъ образѣ строгой, дѣвственной Діаны:

Богини дѣвственной округлыя черты,  
 Во всемъ величїи блестящей наготы,  
 Я видѣлъ межъ деревъ надъ ясными водами:  
 Съ продолговатыми, безцвѣтными очами  
 Высоко поднялось открытое чело,  
 Его недвижностью вниманье облегло, —  
 И дѣвъ моленію въ тяжелыхъ мукахъ чрева  
 Внимала чуткая и каменная дѣва.  
 Но вѣтеръ на зарѣ между листовъ проникъ —  
 Качнулся на водѣ богини ясный ликъ;  
 Я ждалъ, — она пойдетъ съ колчаномъ и стрѣлами,  
 Молочной бѣлизной мелькая межъ древами,  
 Взирать на сонный Римъ, на вѣчный славы градъ,  
 На желтоводный Тибръ, на группы колоннадъ,  
 На стогны длинные... Но мраморъ недвижимый  
 Бѣлѣлъ передо мной красой непостижимой.

Это высочайшій апоѳеозъ не только ваянія, но и всего мѳологическаго міра!

*Боткинъ.*

### **Различныя стороны поэтической дѣятельности Фета.**

При разсматриваніи общихъ фізіологическихъ признаковъ болѣзненной поэзіи, невольно приходитъ въ голову сближеніе этой поэзіи въ общихъ чертахъ ея и въ міросозерцаніи, съ тѣмъ, что мы въ повѣствовательномъ родѣ называемъ натуральною школою. Нѣкоторое сходство та и другая представляетъ даже и въ самой формѣ: какъ манера натуральной школы состоитъ въ описываніи частныхъ, случайныхъ подробностей дѣйствительности, въ придачѣ всему случайному значенія необходимаго, такъ же точно и манера болѣзненной поэзіи отличается отсутствіемъ типичности и преобладаніемъ особенности и случайности въ выраженіи, особенности и случайности, доходящихъ, какъ у нѣмецкихъ стихотворцевъ, такъ и у нашихъ, до неясности и причудливаго уродства; какъ въ натуральной школѣ, такъ и въ болѣзненной поэзіи всѣ такія качества происходятъ отъ непомѣрнаго развитія субъективности. Различіе заключается въ томъ только, что въ лиризмѣ такое міросозерцаніе

и такая манера имѣютъ нѣкоторое оправданіе, даже, пожалуй, свою прелесть: въ совершенно же объективномъ родѣ творчества — они неумѣстны и оскорбительны.

Представителемъ, и притомъ единственнымъ оригинальнымъ представителемъ этого рода поэзіи въ нашей литературѣ называли мы Фета. Чтобы соблюсти совершенную справедливость въ оцѣнкѣ таланта этого поэта, мы сказали, что въ этомъ талантѣ двѣ стороны, что Фетъ, переводчикъ Горация, авторъ многихъ прекрасныхъ антологическихъ стихотвореній, вовсе не то, что Фетъ, являющійся въ пѣсняхъ къ Офеліи, въ мелодіяхъ и проч. Въ Фетѣ, какъ поэтѣ антологическомъ, являются и яркость образовъ, и опредѣленность выраженія, и типичность чувства; что, напримѣръ, ярче по выраженію и колориту его «Вакханки»!..

Подъ тѣнью сладостной полуденнаго сада,  
Въ широколиственномъ вѣнкѣ изъ винограда,  
И влаги Вакховой, томительной полна,  
Чтобъ духъ перевести замедлилась она...

Или трудно себѣ-что либо представить античнѣе по міросозерцанію, по чувству и по выраженію, элегій: «Многимъ богамъ въ тишинѣ я вѣмѣямъ воскуряю», посланія «Къ красавцу» и т. д.; приведемъ также въ образецъ совершенной типичности и ясности чувства и отсутствія всякой причудливой особенности элегію:

О долго буду я, въ молчаньи ночи тайной,  
Коварный лепетъ твой, улыбку, взоръ случайный,  
Перстамъ послушную волосъ густую прядь,  
Изъ мыслей изгонять и снова призывать,  
Дыша порывисто, одинъ, никѣмъ незримый,  
Досадою и стыда, румянами палимый,  
*Искать хотя одной загадочной черты*  
*Въ словахъ, которыя произносила ты;*  
*Шептать и поправлять бымыя выраженья*  
*Ръчей моихъ съ тобой, исполненныхъ смущенья*  
*И въ опьяненіи, наперекорь уму,*  
*Завѣтнымъ именемъ будить ночную тьму.*

Напомнимъ также другую элегію, отличающуюся необыкновенною искренностью и простотою чувства:

Странное чувство какое-то въ нѣсколько дней овладѣло  
Тѣломъ моимъ и душой, цѣлымъ моимъ существомъ.

Напомнимъ «Вечера и ночи», которые дышутъ совершенно объективнымъ спокойствіемъ созерцанія — вотъ одна сторона таланта Фета. Кромѣ того, по условіямъ, вѣроятно, лежащимъ въ натурѣ лирика и въ историческихъ данныхъ эпохи, развивалась въ этомъ талантѣ другая сторона, развивалась со всѣми причудами и крайностями, но вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно самобытно. Въ различныхъ

психологическихъ данныхъ, собранныхъ нами изъ нѣмецкихъ источниковъ, мы слѣдили такое чудовищное развитіе большого эгоизма, въ которомъ есть нѣчто горестное и трагическое для мыслящаго человѣка, видѣли какую-то, такъ сказать, наглуго похвалбу человѣка своимъ моральнымъ увѣчемъ, видѣли, однимъ словомъ, мало-привлекательный типъ человѣка, который, сознавши, что ходить на ходуляхъ, продолжаетъ тѣмъ не менѣе изъ самолюбиваго упрямства ходить на нихъ, смѣясь цинически, надъ собою и надъ почтеннѣйшей публикой. Фетъ не таковъ: самобытность его заключается въ нѣжной, поэтической натурѣ, сообщающей что-то мягкое самымъ причудамъ большого эгоизма. Авторъ глубокой по чувству статьи (Боткинъ) очень удачно сравнилъ его мелодіи съ причудливыми и, такъ сказать, нѣжно-эгоистическими мазурками Шопена и превосходно обозначилъ основное качество его дарованія: «Въ немъ бьется» — говоритъ онъ, между прочимъ — «живое, горячее сердце; оно не утерпитъ и отзовется на всякій звукъ въ природѣ, откликнется на всякій призывъ ея, — принесетъ ли его теплая лѣтняя ночь, или свѣжее, весеннее утро, зимній, снѣгомъ бѣлѣющій, вечеръ, или зноемъ дышащій воздухъ жаркаго лѣтняго дня». Дѣло въ томъ только, что вслѣдствіе какого-то страннаго, болѣзненнаго, совершенно субъективнаго настройства души, — поэтъ отзовется на это такимъ особеннымъ страннымъ звукомъ, который иногда, даже часто, не всякому уху доступенъ, не всякому сердцу понятенъ, что, конечно, вредитъ впечатлѣнію. Изъ болѣзненной поэзіи Фетъ развилъ собственно одну ея сторону, сторону неопредѣленныхъ, недосказанныхъ, смутныхъ чувствъ, того, что называютъ французы *le vague*... Чувство въ нѣкоторыхъ его стихотвореніяхъ какъ будто не созрѣваетъ до совершенной полноты и ясности — и явно поэтъ самъ не хотѣлъ довести его до того опредѣленнаго, общедоступнаго состоянія, что онъ предпочитаетъ услаждаться, такъ сказать, грезой чувства. Въ этомъ, какъ хотите, есть своего рода прелесть, прелесть грезы съ одной стороны, полудовлетворенія — съ другой, прелесть того состоянія, когда человѣкъ

Впиваетъ послѣднюю,  
Сладкую влагу  
Сна на зарѣ...

И оттого никому не удастся подмѣчать такъ хорошо задатки зарождающихся чувствъ, — тревоги получувствъ и, наконецъ, подымающіеся подчасъ въ душѣ человѣка отпрыски прошедшихъ чувствъ и старыхъ впечатлѣній, бывшихъ стремленій, которыя «далеки, какъ выстрѣлъ вечерній», памяти былого, которая

*Крадется въ сердце тревожно...*

Въ такихъ случаяхъ, даже особенность, причудливость выраженій становится доступною читателю, и не странно ему, что

Исполнена тайны жестокой  
Душа замирающихъ скрипокъ...

ибо въ дальнѣйшемъ, напримѣръ, развитіи смутнаго впечатлѣнія — ясно, что хотѣлъ поэтъ сказать:

Средь шума толпы неизвѣстной  
Тѣ звуки понятнѣй мнѣ вдвое,  
Напомнили силой чудесной  
Они мнѣ все сердцу родное:

Ожившая память несется  
Къ прошедшей тоскѣ и веселью,  
То сердце замретъ, то проснется  
За каждой безумною трелью...

Вообще въ такихъ случаяхъ читатель, увлеченный чувствомъ поэта, не спроситъ отъ него строгой логической послѣдовательности, не подвергнетъ его отвѣтственности за быстрые скачки и переходы мысли, какъ, напримѣръ, въ стихотвореніи:

*Младенческой ласки доступень мнѣ лепеть...*

не спроситъ тутъ, почему вдругъ поэта что-то кинуло обратиться вдругъ, совсѣмъ неожиданно-негаданно, къ какой-то звѣздѣ, что такъ ярко сіяетъ, и сказать ей:

Давно не видались мы въ небѣ ширококъ...

Читатель, понимая лиризмъ мотива, порыва поэта, не захочетъ съ математической точностью разлагать, съ цѣлію повѣрять отчетливость фигуръ и троповъ, такого, напримѣръ, стихотворенія:

О не зови! страстей твоихъ такъ звонокъ  
Родной языкъ,  
Ему внимать и плакать, какъ ребенокъ,  
Я такъ привыкъ...

ему и некогда повѣрять тутъ постройки, когда цѣлое явнымъ образомъ вырвалось изъ души разомъ въ отвѣтъ на воззванье страстей и блаженствъ,

Которымъ нѣтъ названья  
И мѣры нѣтъ...

Читатель не спроситъ также поясненія нѣкоторыхъ странностей, подробностей, очевидно, частныхъ, мѣстныхъ — въ стихотвореніяхъ, напримѣръ, носящихъ общее названіе — «хандра», хотя, конечно, было бы лучше, если бъ не бросалъ лирикъ многого безъ поясненія, если бъ вездѣ доводилъ онъ причудливыя мечты фантазіи до ихъ возможной ясности, какъ удалось ему это въ стихотвореніи:

*Мы одни. Изъ сада въ стекла оконъ...*

въ которомъ наглядно совершается греза

*Въ царствѣ тихой свѣтлой ночи майской,*

когда звѣзды, дрожа лучами, какъ будто все ближе и ближе нисходятъ къ намъ, и

На суку извилистомъ и чудномъ  
Пестрыхъ сказокъ пышная жилица.  
Вся въ огнѣ, въ сіяньи изумрудномъ,  
Надъ водой качается жарь-птица,

когда, наконецъ:

Листья полны свѣтлыхъ насѣкомыхъ,  
Все растеть и рвется вонъ изъ мѣры,  
Много сновъ проносится знакомыхъ,  
И на сердцѣ много сладкой вѣры...

Хорошо было бы, съ другой стороны, если бы самыя тонкія душевныя впечатлѣнія поэтъ возводилъ вездѣ такъ удачно въ объективныя представленія, какъ въ своихъ «Вечерахъ и ночахъ», или — если бы вездѣ у него недосказанность была такъ полна и обдавала бы читателя такимъ фанатстическимъ впечатлѣніемъ, какъ въ слѣдующей мелодіи:

Давно ль подъ волшебные звуки  
Носились по затѣ мы съ ней...  
Теплы были нѣжныя руки,  
Теплы были звѣзды очей.  
Вчера пѣли пѣснь погребенья,  
Безъ крышки гробница была:

Закрывши глаза, безъ движенья,  
Она подъ парчею спала.  
Я спалъ... Надъ постелью моею  
Стояла луна мертвецомъ —  
Подъ чудные звуки мы съ нею  
Носились по затѣ вдвоемъ.

*Григорьевъ.*

### **Фетъ, Майковъ и Тютчевъ въ изображеніи природы.**

Сосредоточенная наблюдательность внѣшнихъ проявленій природы, наблюдательность живописца, чуткаго къ красотѣ красокъ и линий, видимо, превышала въ Майковѣ то безотчетно-восторженное стремленіе къ воссозданію словомъ поэтическихъ моментовъ нашей жизни, — стремленіе, которымъ уже въ то время отличался Тютчевъ и съ которымъ Фетъ готовился вступить въ нашу литературу. Оба, названные нами поэта имѣли надъ Майковымъ перевѣсъ въ лиризмѣ, точно такъ же, какъ онъ имѣлъ надъ ними перевѣсъ въ художественной отдѣлкѣ стиха, въ законченности и образности произведеній. Чтобъ яснѣе опредѣлить мысль нашу и чтобъ яснѣе показать разность поэтическихъ путей, по какимъ двигались поэты, нами названные, мы позволимъ себѣ сдѣлать небольшое сравненіе ихъ произведеній, по поводу самыхъ немногосложныхъ и общедоступныхъ явленій внѣшняго міра.

И Майковъ, и Фетъ, и Тютчевъ очень часто изображаютъ намъ картины природы, подступая къ природѣ двумя совершенно противоположными способами. Первый поэтъ, не страстный, но чуткій на поэзію и исполненный, какъ мы сказали, наблюдательностью высокаго живописца, смѣло рѣшается передать словами то, что доступно лишь кисти мастера, и, не взирая на необычную трудность задачи, почти всегда выходитъ побѣдителемъ. Не затемняя своихъ очертаній ни рефлексією, ни взрывами восторга, онъ осмотрительно свершаетъ свой трудъ и заканчиваетъ его, ни на минуту не разставаясь съ своимъ величавымъ спокойствіемъ. Два другіе поэта дѣйствуютъ иначе. Пораженные, поглощенные, отуманенные даннымъ явленіемъ,

они кидаются на воссозданіе его, надѣясь лишь на то, что сила чувства, взволновавшаго всю ихъ натуру, не можетъ не выразиться поэтическимъ словомъ. Не наблюдая подробностей, не набрасывая линий, не гонясь за формою, они дѣлаютъ своего рода лирической *coup de tête*, который часто бываетъ неудаченъ, но по временамъ приводитъ къ неожиданному и самому удовлетворительному результату. При успѣхѣ изъ души, взволнованной поэтическимъ восторгомъ, вырываются образы почти сверхъестественной вѣрности и мастерства, образы, до которыхъ не додумаешься въ спокойномъ состояніи души нашей. Такимъ образомъ, мы видимъ трехъ поэтовъ, достигающихъ блестящаго поэтическаго успѣха черезъ два пути, вовсе между собою несходные. Всѣ трое имѣютъ свою силу и свою слабость: — слабость поэта-пластика заключается въ томъ, что, предаваясь лирическимъ порывамъ, онъ лишается выгодъ, ими доставляемыхъ, — слабость поэтовъ лириковъ ведетъ къ тому, что образы ихъ часто не имѣютъ должной оконченности, и сильный поэтический порывъ, ихъ взволновавшій, не выражается въ формѣ, достаточно художественной.

Продолжая сравненіе, приведемъ прежде всего стихотвореніе Майкова «Эхо и молчаніе».

#### Эхо и молчаніе.

Осень срывала поблекшіе листья  
Съ блѣдныхъ деревьевъ, ручей по-  
крывала  
Тонкою слюдой блестящаго льда...  
Грустный, блуждая въ лѣсу обнажен-  
номъ,  
Въ чащѣ глубокой подъ дубомъ и елью,  
Мирно уснувшихъ двухъ нимфъ я  
увидѣлъ.  
Вѣтеръ игралъ ихъ густыми волосами,  
Вѣялъ, клубилъ ихъ зеленыя ризы,  
Нѣжно ихъ жаркія лица лобзая.

Вдругъ за горами послышался топотъ,  
Лаянье псовъ и охотничьи роги.  
Нимфы проснулись: одна за кустами,  
Шумомъ испугана, въ чащу сокрылась,  
Рѣдко дыханье тая; а другая  
Съ хохотомъ рѣзкимъ, съ пригорка къ  
пригорку,  
Съ холма на холмъ, изъ лощины въ  
лощину,  
Быстро кидалась, и вотъ, за горами,  
Тише и тише... исчезла... Но долго  
По лѣсу голосъ ея повторялся.

Всякій согласится съ нами, что задача поэта необыкновенно трудна. Здѣсь требуется воплотить въ художественное цѣлое, въ одну картину, явленіе природы, повидимому, не представляющее въ себѣ картинности. Эхо и молчаніе могутъ вдохновить поэта-мечтателя, поэта, исполненнаго меланхолиі, и такъ далѣе, но какъ передать ихъ въ пластическихъ образахъ? Нашъ поэтъ вдохновляется поэзіей древнихъ народовъ и съ помощью мифологическаго представленія, обставленнаго всею прелестью картинъ осенней природы, преодолеваетъ трудность своей темы. О спокойствіи и законченности образовъ, о художественныхъ сторонахъ всего произведенія судить намъ не приходится, потому что стихотвореніе само говоритъ за себя каждому читателю. Достаточно будетъ съ особеннымъ вниманіемъ отмѣтить ту особенность, что нашъ поэтъ, трудясь надъ задачей полуаллего-

рической и сложной, умѣлъ придать ей ясную, невозмутимую простоту, и картинность цѣлаго не затемнилъ никакимъ фантастическимъ представленіемъ.

Совершенно другое видимъ мы, напримѣръ, у Тютчева, въ его короткомъ произведеніи «Неостывшая отъ зною» — произведеніе, въ которомъ явленіе природы, простое и не сложное, да, сверхъ того, взятое безъ всякихъ отношеній къ міру фантастическому, разрастается въ картину смутнаго и какъ бы сверхъ-естественнаго величія. Поэтъ просто говоритъ о зарницѣ въ лѣтнюю ночь, но взгляните, какими удивительными словами выражаетъ это представленіе его пылкая душа, до самой своей глубины потрясенная картиною, въ нее залегшею.

Неостывшая отъ зною,  
Ночь іюльская блистала,  
И надъ тусклою землею  
Небо, полное грозою,  
Все въ зарницахъ трепетало.

Неба сонныя рѣсницы  
Раскрывалися порою  
*И, сквозь бѣглыя зарницы*  
*Чьи-то грозныя згнницы*  
*Загорались надъ землею!*

Вотъ и все стихотвореніе; но какой человѣкъ, понимающій поэзію, не испытываетъ глубокаго потрясенія, читая его, въ особенности же повторяя себѣ послѣднія строки? Тутъ намъ высказывается вся несравненная, безпредѣльная сила метода лирическаго, такъ какъ сейчасъ, въ стихахъ Майкова, сказался намъ спокойной объективный методъ въ поэзіи. Разберите стихотвореніе Тютчева съ точки зрѣнія пластика, — и вы тотчасъ примѣтите его недостатки въ этомъ отношеніи. Не говоримъ уже о томъ, что образы, самые разнородные, здѣсь перепутываются въ хаотическое цѣлое, что неизвѣстно, чьи-то згнницы загораются надъ землею сквозь бѣглыя зарницы, — вся картина никакъ не передается на полотно, да и самая попытка къ тому невозможна. И, несмотря на то, вещь превосходна, — причина этому та, что *человѣкъ если имѣ движетъ натура страстная и поэтическая, имѣетъ въ себѣ огромную и неподдающуюся спокойному анализу силу, ту силу, за которой никакая кисть не утонится.*

Совершенно подобныхъ явленій находимъ мы множество въ книжечкѣ стихотвореній Фета. Возьмемъ, напримѣръ, хотя стихотвореніе «Пчелы», совершенно запутанное въ объективно-художественномъ отношеніи, но стоящее необыкновенно высоко чрезъ лиризмъ, въ немъ заключающійся:

Пропаду отъ тоски я и лѣны  
Одинокая жизнь не мила,  
Сердце ноетъ, слабѣютъ колѣны...  
Въ каждый гвоздикъ душистой сирени,  
Распѣвая, вползаетъ пчела...  
Дай, хоть выйду я въ чистое поле,  
Иль совсѣмъ потеряюсь въ лѣсу...  
Съ каждымъ шагомъ не легче на волѣ,

Сердце пышетъ все болѣ и болѣ,  
Словно уголь въ груди я несу.  
Нѣтъ, стой же: съ тоскою моею  
Здѣсь разстанусь. Черемуха спитъ...  
Ахъ, опять эти пчелы надъ нею!  
И никакъ я понять не умѣю,  
На цвѣтахъ ли, въ ухахъ ли звенитъ.

Вотъ пятнадцать поэтическихъ строкъ, въ которыхъ напрасно станемъ мы искать послѣдовательности, ясности, опредѣленной картинности. Мы даже не видимъ, въ какую пору дня происходитъ моментъ, изображенный поэтомъ, не знаемъ даже, въ чьи уста влагаетъ онъ свой весенній диѳирамбъ, не знаемъ, кто смотритъ на жужжащихъ пчелъ: самъ ли поэтъ, молодая ли дѣвушка, молодой ли мужчина. Какими же путями, при всей этой путаницѣ образовъ и восклицаній, поэтическая цѣль достигнута со всей полнотою? Путь здѣсь одинъ—задушевный лиризмъ, составляющій всю силу человѣка, имъ одареннаго.

*Дружининъ.*

### Фетъ и Боделеръ, Гейне, Тютчевъ.

Поэтъ-импрессионистъ, поэтъ мгновеннаго и одиноко переживаемаго, Фетъ рѣзко отличается отъ тѣхъ поэтовъ прошлаго, главную силу которыхъ составляетъ паѳосъ мысли. Но область чувствъ и ощущеній, которая преимущественно выражаетъ Фетъ, представляетъ цѣлую стихію внутренняго міра человѣка, существующую съ тѣхъ поръ, какъ онъ живетъ на свѣтѣ. Можетъ ли быть поэтому, чтобы до Фета эта область душевной жизни никогда не находила для себя поэтическаго выраженія? Неужели Фетъ открылъ ее, неужели онъ такъ исключительно оригиналенъ, что не имѣетъ ни предшественниковъ ни преемниковъ?

Давно извѣстно, что въ мірѣ людей нѣтъ ничего новаго, ничто не создается сразу, и было бы странно, если бы поэзія Фета представляла въ этомъ случаѣ исключеніе. Подробное изслѣдованіе лирики, начиная съ первыхъ временъ ея исторіи и кончая нашими днями, несомнѣнно раскрыло бы въ народной пѣснѣ, въ античной поэзіи, въ мистицизмѣ романтиковъ присутствіе тѣхъ стихій душевной жизни, которыя выражаются въ произведеніяхъ Фета. Но и не задаваясь такою широкою задачей, интересно сравнить Фета съ поэтами, творчество которыхъ ближе всего примыкаетъ къ роду его поэзіи. Ограничивая область сравненія ближайшимъ къ намъ временемъ, въ числѣ такихъ поэтовъ можно указать — во французской литературѣ Шарля Боделера, въ нѣмецкой — Генриха Гейне и въ нашей — Тютчева.

Шарль Боделеръ, подобно Фету, не только лирикъ по преимуществу, но имѣетъ съ нимъ и то ближайшее сходство, что въ произведеніяхъ его проявляются не только условно цѣльные чувства, такъ сказать, неразложимыя категоріи души, но нерѣдко и не установленныя еще сознаниемъ и незавершенныя настроенія. Въ такомъ родѣ, на примѣръ, у него стихотвореніе „Звуки смерти“.

Короткая пора мелодій и цвѣтовъ,  
Прощай! Мы къ будничнымъ должны вернуться звукамъ  
Ужъ, слышно, падаютъ на мостовой дворовъ  
Тяжелыя дрова съ печально рѣзкимъ стуккомъ.

И вотъ опять зима встаетъ передо мной,  
Со злобой, дрожью, тьмой, съ заботой, жизнью мглистой..  
И сердце станетъ вновь въ груди моей больной,  
Какъ солнце полюса, лишь глыбой краснольдистой.  
Паденье каждаго полѣна слышу я:  
Такъ строить эшафотъ зловѣщій утромъ рано.  
Какъ башня твердая, дрожить душа моя  
Подъ неустанными ударами тирана!  
И все мнѣ чудится, что то гробовщики  
Кому-то гробъ поспѣшно забиваютъ.  
Не лѣта ль яснаго звучать и замирають  
Вдали послѣдніе шаги?...

И здѣсь случайныя впечатлѣнія и мгновенные образы, какъ и у Фета. Но все же нашъ поэтъ не подписался бы подъ этимъ стихотвореніемъ, и даже не особенно привыкшее къ его мелодіямъ ухо безъ труда услышитъ здѣсь другую лиру.

Боделеръ неустанно прислушивается къ жизни своего сердца, ищетъ чувствъ. Но они не находятъ у него свободнаго выраженія. Его стихотворенія — не вылившіяся минуты душевной жизни, не непосредственный голосъ сердца, а плодъ ума, наблюдавшаго эту жизнь, результатъ внимательнаго и подробнаго анализа сердца. Боделеръ не беззаботный пѣвецъ настроеній, высказывающій ихъ лишь потому, что они были или представились его фантазіи, но вѣчно рефлектирующій, наблюдающій за собой умъ, оцѣнивающій внутреннее достояніе души человѣческой. Въ его произведеніяхъ — не только выраженіе чувства, но и значеніе его и приговоръ надъ нимъ. Этотъ приговоръ у такого поэта, какъ Боделеръ, всегда, конечно, горькій, безрадостный.

Вездѣ вы узнаете поэта, который самъ о себѣ говоритъ:

Je suis la plaie et le couteau,  
Je suis le soufflet et la joue,  
Je suis la victime et la roue,  
Et les membres et le bourreau.

Вся его поэзія — голосъ горькой насмѣшки надъ жизнью, болѣзненный стонъ утонченнаго и пресыщеннаго сердца, которое цѣнить только изысканное и страдаетъ скукой и разочарованіемъ. Это страданіе и эту насмѣшку вы чувствуете въ каждомъ произведеніи Боделера; вы заранѣе угадываете тотъ выводъ, къ которому поэтъ непременно придетъ, о чемъ бы ни началъ писать, и ради котораго онъ всегда пишетъ. Это свойство поэзіи Боделера придаетъ ей характерность и опредѣленность, но вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаетъ ее монотонною, ограничленною, почти преднамѣренною.

Какая разница съ Фетомъ, у котораго настроеніе непосредственно выливается въ стихахъ, безъ рефлексіи, безъ помощи анализа и не съ цѣлью какихъ-либо выводовъ, а ради него самого, у котораго сердце не подавлено скорбью, но отзывается на жизнь всѣми звуками, не исключая и радостныхъ!... Едва ли нужно прибавлять къ этому, что

содержаніе поэзіи Боделера не имѣетъ ничего общаго съ поэзіей Фета: французскій поэтъ вдохновлялся въ своемъ творчествѣ сложною, напряженною, громадною жизнью Парижа, поэзія же Фета навѣяна мирною природою русской деревни.

О сходствѣ Фета съ Генрихомъ Гейне много говорилъ Ап. Григорьевъ, писатель, съ успѣхомъ практиковавшій у насъ приемы психологической критики еще въ то время, когда она не была модною во Франціи. По мнѣнію Григорьева, въ Фетѣ слѣдуетъ различать двѣ стороны: поэта антологическаго, отличающагося ясностью образовъ, опредѣленностью выраженія, типичностью чувства и объективно спокойнымъ античнымъ созерцаніемъ, и поэта субъективнаго, поэта самыхъ болѣзненныхъ стремленій сердца современнаго человѣка. Этою стороною Фетъ соприкасается съ болѣзненною нѣмецкою поэзіей, самымъ яркимъ представителемъ которой былъ Гейне.

Въ этой характеристикѣ прежде всего поражаетъ совмѣщеніе противоположныхъ свойствъ. Если такое соединеніе и было въ дѣйствительности, то тѣмъ не менѣе его не должно быть въ характеристикѣ. Послѣ приведенной характеристики все-таки приходится спросить: въ чемъ же, по мнѣнію Ап. Григорьева, основная черта поэтической природы Фета?

Теперь, по завершеніи его художественной дѣятельности, не можетъ уже представляться сомнительнымъ, что самобытность дарованія поэта проявилась не въ антологическихъ его произведеніяхъ. Правда, и въ этомъ родѣ онъ достигъ совершенства, но въ нихъ нѣтъ той индивидуальности, по которой ихъ можно было бы отличать отъ подобныхъ произведеній у Пушкина или Майкова. Яркая особенность творчества Фета сказывается въ произведеніяхъ другого рода, которыя, въ отличіе отъ первыхъ, можно пожалуй назвать субъективными.

Если сравнить эти произведенія съ лирическими стихотвореніями Гейне, то въ разнообразномъ творчествѣ послѣдняго нельзя, конечно, не замѣтить, между прочимъ, и такихъ пьесъ, которыя по характеру своему приближаются къ поэзіи Фета. Но сходство между ними только внѣшнее, чисто литературное или артистическое. Выразительность ихъ стиха приблизительно одинакова — достигаетъ передачи одной и той же глубины душевной жизни. Въ произведеніяхъ того и другого — фантазія, грезы, настроенія, и оба владѣютъ стихомъ разнообразнымъ, гибкимъ, мелодичнымъ, способнымъ передавать самыя легкія движенія чувства и самую причудливую игру воображенія. Но внутренній строй души, но направленіе чувства у того и другого поэта совершенно различны.

Если вѣчный внутренній разладъ, терзавшій Гейне, — этого романтика, осмѣивающаго романтизмъ, и скептика, жаждущаго упованій, — можно было назвать болѣзнию вѣка, если вѣяніе этого раздвоенія чувствуется почти въ каждомъ произведеніи поэта «мировой скорби», то этой болѣзни нельзя отыскать у автора, написав-

шаго извѣстное «Я пришелъ къ тебѣ съ привѣтомъ», автора удивительно цѣльнаго въ своихъ чувствахъ и совершенно чуждаго ироніи. (Вопреки мнѣнію Ап. Григорьева) Фетъ представляется поэтомъ необыкновенно цѣльной натуры, чувствующимъ жизнь свѣжо, свободно и ясно. Поэзія его полна мечтательности, едва пробивающихся воспоминаній, недоконченныхъ чувствъ, мгновенныхъ наслажденій и желаній, его мелодіи звучать нерѣдко грустью, стихъ дышитъ иногда меланхоліей и задумчивостью, но вся эта жизнь, дремлющая гдѣ-то въ недосыгаемой для сознанія душевной глубинѣ, не болѣзнь, не уредливое отклоненіе, а естественное достояніе всякаго человѣка, хотя, конечно, не всякій человѣкъ и даже не всякій поэтъ можетъ выражать ее. А грусть, меланхолія, задумчивость?... Кого изъ поэтовъ можно назвать здоровымъ, если считать эти настроенія признакомъ болѣзни!...

Ближе всѣхъ къ Фету стоитъ нашъ Тютчевъ. Слѣдующее стихотвореніе этого замѣчательнаго, но мало у насъ извѣстнаго поэта хотя и не принадлежитъ къ числу лучшихъ, но довольно характерно для выясненія его сходства съ Фетомъ:

Смотри, какъ роща зеленѣетъ,  
Палящимъ солнцемъ облита,  
И въ ней какую нѣгой вѣетъ  
Отъ каждой вѣтви и листа!  
Войдемъ и сядемъ подъ корнями  
Деревъ, поимыхъ родникомъ,—

Тамъ, гдѣ обвѣянный ихъ мглами,  
Онъ шепчетъ въ сумракѣ нѣмомъ,  
Надъ нами бредятъ ихъ вершины,  
Въ полдневный зной погружены.  
И лишь порою крикъ орлиный  
До насъ доходитъ съ вышины...

— одно изъ тѣхъ настроеній, которыми полны произведенія Фета. Такой же стихъ, выливающийся однимъ порывомъ минутнаго вдохновенія. Разница между обоими поэтами лишь въ степени, до которой каждый изъ нихъ доводитъ импрессионизмъ въ своемъ творчествѣ. Тютчевъ въ этомъ отношеніи болѣе сдержанъ; у него нерѣдко замѣтна примѣсь сознанія, направляющаго порывы его впечатлѣній. Фетъ непосредственнѣе, смѣлѣе и выразительнѣе. Передаваемые имъ настроенія болѣе неожиданны, причудливы, подчасъ даже капризны. Стихъ его разнообразнѣе, послушнѣе прихотливымъ движеніямъ души, легче и своеобразнѣе. Вслѣдствіе этого поэзія Фета имѣетъ большое литературное значеніе и заслоняетъ собою однородную съ нею лирику Тютчева.

Въ послѣднее время нерѣдко указываютъ на сходство между поэзіей Фета и школой новѣйшихъ поэтовъ, извѣстныхъ подъ именемъ декадентовъ. Говорятъ, что отъ поэзии несознаваемыхъ настроеній, какую представляетъ поэзія Фета, до тѣхъ намековъ на мистическое, которое составляетъ содержаніе произведеній писателей-декадентовъ, всего лишь одинъ шагъ, что писатели эти идутъ въ томъ же направленіи, какъ и Фетъ, но идутъ дальше него.

Мнѣніе это имѣетъ только одно основаніе: ни стихотворенія Фета ни произведенія декадентовъ не служатъ для выраженія мыслей. Но обобщать предметы на основаніи отрицательныхъ признаковъ

нельзя; что же касается положительных свойств той и другой поэзии, то они совершенно различны, и достаточно послѣ лирическихъ пьесъ Фета прочитавъ что-нибудь изъ произведеній декадентовъ, чтобы убѣдиться, что преемственности здѣсь нѣтъ никакой. Для примѣра привожу слѣдующее стихотвореніе Метерлинка, занимающаго одно изъ первыхъ мѣстъ среди декадентовъ:

*Serre chaude.*

O serre au milieu des forêts!  
Et vos portes á jamais closes!  
Et tout se qu'il y a sous votre coupole!  
Et sous mon âme en vos analogies!  
Les pensées d'une princesse qui a faim,  
L'ennui d'un matelot dans le désert,  
Une musique de cuivre aux fenêtres des incurables.  
Allez aux angles les plus tièdes!  
On dirait une femme évanouie un jour de moisson,  
Il y a des postillons dans la cour de l'hospice;  
Au lain, posse un chasseur d'élans, devenu infirmier.  
Examinez au clair de lune!  
(Oh rien n'y est à sa place!)  
On dirait une folle devant les juges,  
Un navire de guerre à pleines voiles sur un canal,  
Des oiseaux de nuit sur des lys,  
Un glas vers midi,  
(Là-bas sous ces cloches!)  
Une étape de malades dans la plairie.  
Une odeur d'éther, un jour de soleil.  
Mon Dieu! mon Dieu! quand aurons-nous la pluie.  
Et la neige et le vent dans la serre!

Эта пьеса не производитъ на читателя иного впечатлѣнія, кромѣ напраснаго усилія передать что-то непередаваемое, недоступное. Она не вызываетъ никакого чувства или настроенія и съ перваго раза совершенно непонятна. Безсвязный наборъ словъ, рядъ символовъ, смыслъ которыхъ безъ комментариевъ остается темнымъ. И только кропотливая умственная работа открываетъ вамъ, наконецъ какіе-то проблески мысли. Такія произведенія даже странно называть поэзіей... Стихотворенія же Фета—несомнѣнная, чистѣйшая поэзія. Въ нихъ заключена сила поэтическаго очарованія: они непосредственно говорятъ сердцу, подобно музыкѣ, и пробуждаютъ въ читателѣ опредѣленное настроеніе. Читая ихъ, чувствуешь, какъ цѣльные вылились они изъ поэтическаго вдохновенія автора. Произведенія же молодой французской школы—плодъ труднаго наизыванія словъ, въ которыхъ уму мерещится что-то неясное. Между такими произведеніями и поэзіей нѣтъ ничего общаго.

*Дистерло.*

## Музыка любви въ поэзіи Фета.

Я не хочу слишкомъ пестрить моего слова золотомъ фетовской поэзіи. Рядомъ съ его порхающимъ стихомъ черезчуръ невыгодно стоять моей скромной прозѣ. Я возьму одно только стихотвореніе Фета, изъ его раннихъ, всѣмъ извѣстное, поражающее сжатостью формы, при богатствѣ и роскоши содержанія и возбуждавшее въ однихъ удивленіе къ этому способу изложенія, а въ другихъ неосновательныя насмѣшки надъ отсутствіемъ въ стихотвореніи глаголь. Стихотвореніе это, ярче моихъ словъ, докажетъ, какъ постигаль Фетъ музыку любви. Я разбиваю стихотвореніе на его три части и о каждой скажу отдѣльно. Вотъ эти стихи:

Шопоть. Робкое дыханье.  
Трели соловья.  
Серебро и колыханье  
Соннаго ручья.

Передъ нами мѣсто свиданія любви. Влюбленные боятся еще итти навстрѣчу своему счастью, боятся возвысить голосъ. Ихъ никто не услышитъ, мѣсто одиноко, часъ ночи поздній, ручей спокойно колышется въ берегахъ, серебряный луною, соловей поетъ. Опасаться нечего. Влюбленнымъ хотѣлось итти сюда, ихъ неудержимо влекло встрѣтиться, но робость, милая робость предвкушаемой радости заставляеть ихъ прерывисто дышать. Ночь идетъ впередъ. Влюбленные удаляются подъ тѣнь деревъ.

Свѣтъ ночной. Ночныя тѣни, —  
Тѣни безъ конца.  
Рядъ волшебныхъ измѣненій  
Милаго лица.

Коротка весенняя ночь, но много въ ней было пережито. Луна поднималась все выше, потомъ, обогнувъ небо, склонилась къ закату, длиннѣе становились тѣни деревьевъ. Сдержанная рѣчь, сдержанное волненіе заставляли въ слова, не имѣющія смысла для посторонняго слушателя, влгать понятное только для того, кому они сказаны; заставляли мѣняться въ лицѣ отъ отчаянія и безнадежности, переходящихъ въ увѣренность; отъ увѣренности легкомысленно разбитой внезапною шуткою — къ горю, отъ горя и шутки, спугнувшей попытку робкихъ объятій, къ новой надеждѣ! А луна сквозь листву бросала свои отблески на лица, смотрящія съ надеждой, съ желаніемъ, съ порывомъ другъ на друга. Сдѣлала, однако, свое дѣло весенняя ночь. Не даромъ «волшебны» были измѣненія милаго лица. Волшебство совершилось, объятія раскрылись, а тутъ незамѣтно подкрался и разсвѣтъ радостнаго утра, во слѣдъ радостной таинственной ночи.

Въ дымныхъ тучкахъ пурпуръ розы,  
Отблескъ янтаря,  
И лобзанія, и слезы —  
И заря, заря!

Вопросъ рѣшенъ. Они узнали, увѣрились, что любятъ другъ друга. Слезы радости, жаркія тѣсныя лобзанія сковали ихъ вмѣстѣ, этихъ влюбленныхъ. Жертвеннымъ дымомъ торжествующей любви кажутся имъ желторозовыя свѣжія облака ранняго утра. Багрець и янтарь сіяютъ для нихъ въ этихъ тучкахъ; счастье, непредѣльное счастье сулитъ имъ разгорающаяся заря, румяная предвѣстница солнца, солнца ихъ радости, солнца ихъ любви.

Пускай потомъ, за предѣлами этой ночи, описанной поэтомъ, влюбленныхъ ждетъ проза жизни, съ ея плоскими требованіями, съ ея мелкими нужными запросами, пускай сами они такъ опошляются, что съ усмѣшкой стыда будутъ вспоминать о «глупостяхъ», пережитыхъ въ «такую ночь»... Но они жили. Было то мгновение, когда души ихъ, отрѣшенные отъ повседневности, тяготѣющія только другъ къ другу, не знали ничего въ мірѣ: она—кромѣ него, онъ—кромѣ нея; когда эти проникнутыя любовью, трепетныя отъ любви души въ стройномъ созвучіи, слитыя воедино, вмѣстѣ съ природой, восходили во вздохахъ блаженства къ престолу Божію, восходили, какъ по ступенямъ лѣстницы, по звукамъ соловьиной пѣсни, уносящейся къ своду небесному въ необъятныя пространства міровъ, взлетали по лунному лучу, дрожали въ ароматѣ травъ, цвѣтовъ и неумолкающихъ поцѣлуевъ любви. Было это мгновение, и спасибо поэту-соловью, что онъ, незримый и неслышимый до времени, подсмотрѣлъ и подслушалъ его, бросилъ его на струны своей лиры, начерталъ на своихъ скрижаляхъ.

Они, эти стихи, говорятъ вамъ: не все въ жизни скука, однообразіе, пошлость; есть хорошія мгновенія, для которыхъ стоитъ жить, ради которыхъ можно пожертвовать всѣмъ, за которыхъ не задумаешься заплатить хотя бы годами страданій и тоски. Эти стихи говорятъ: есть тѣсная связь между жизнью духа человѣческаго и духа природы, одна сила учить пѣть этого соловья, свѣтитъ взятымъ отъ солнца, «своего вѣчнаго возлюбленнаго», свѣтомъ луну и биться любовью человѣческое сердце. Въ этомъ стихотвореніи есть все: и вѣра въ Бога-создателя и руководителя природы и розовая надежда на счастье, и любовь! любовь! — Вотъ какъ умѣлъ писать Фетъ. Вотъ какъ въ краткихъ словахъ умѣлъ онъ выразить для имѣющихъ уши, чтобы слышать то, для выраженія чего намъ, людямъ, не потребованнымъ «Аполлономъ къ священной жертвѣ» поэзіи, необходимы страницы.

Жизнодавецъ Богъ, сотворившій міръ не для смерти, а для жизни, возжегъ на небѣ солнце, живительныя, оплодотворяющіе лучи котораго даютъ взаимную любовь всему живущему; даровалъ гортани малой пташки дивныя звуки неумирающей пѣсни любви, а царю творенія, человѣку, далъ не только ощущеніе, знаніе, но и проникновенное пониманіе любви. Любовь умереть, когда замолчитъ соловей, погаснетъ солнце, разрушится міръ!

А дотолѣ будутъ живы и такіе поэты любви, какимъ былъ Фетъ.  
Слава ему!

*Стечкинъ.*

## Значеніе поэзіи Фета.

Всякій, кто только жилъ, видѣлъ, чувствовалъ и подстерегалъ неопредѣленные порывы своего сердца — обязанъ привѣтствовать Фета, какъ учителя и объяснителя. Каждому изъ насъ, людей не совершенно очерствѣлыхъ душою, Феть имѣеть сообщить многое, многое. Ему открыта, ему знакома область, по которой мы ходимъ съ замирающимъ сердцемъ и съ полузакрытыми глазами: эта область — область поэтическихъ ощущеній души человѣческой. Наши дѣтскія воспоминанія, наши дѣтскіе страхи, наши сладкія ощущенія въ часъ занимающагося утра и въ темную ночь, озаренную звѣздами, — наши свѣтлыя мысли посреди сельскаго затишья, наши волненія передъ свиданіемъ съ первою возлюбленною, наши минуты хандры и минуты порывистой веселости — все это олицетворено, высказано, слито съ образами и музыкой стиха. Если кто изъ насъ, читая книгу стихотвореній Фета, ничего не увидитъ и ничего не припомнитъ — значить ему никогда не надо читать стихотвореній. Умъ отказывается вѣрить, что нашъ поэтъ, на такомъ маленькомъ количествѣ страницъ, въ тоненькой книгѣ съ широкими полями, могъ наговорить намъ столько свѣтлаго, столько новаго, столько нетронутаго, столько перечувствованнаго? Чего нѣтъ въ его книгѣ, на какія стороны тихой русской поэзіи не даетъ она отголоска? Какіхъ картинъ не набрасываетъ предъ нами авторъ, въ произведеніяхъ короткихъ и сжатыхъ, иногда немного туманныхъ, иногда краткихъ до странности? И цѣль его болѣе чѣмъ достигнута. Мы видимъ предъ собой родныя снѣговыя поляны, занесенную снѣгомъ ракиту возлѣ ветхой калитки, изъ которой выбѣгаетъ гадающая дѣвушка съ вопросомъ: «Какъ тебя зовутъ?»; мы присутствуемъ при гаданіяхъ, мы слѣдимъ за тѣмъ, какъ снѣговыя поляны таютъ и разрушаются, какъ душистая весна начинаетъ вѣять крыломъ, мы слышимъ громъ телѣги по еще замороженному пути, мы переплываемъ Днѣпръ въ половодье, мы бродимъ у морского берега, за которымъ заливъ раскидывается серебряною ризою. И, кромѣ того, сколько еще картинъ, сколько еще воспоминаній, сколько еще поэзіи, въ которой древняя пластика идетъ слѣдомъ за германскою туманностью, чисто русская картина смѣняетъ страстный лепетъ, обращенный къ Офеліи! Феть чувствуетъ поэзію жизни, какъ страстный охотникъ, чувствуетъ невѣдомымъ чутьемъ то мѣсто, гдѣ ему охотиться. Никакая трудность задачи, никакая тонкость ощущенія не пугаютъ поэта нашего, его слово въ нѣкоторомъ отношеніи выше обыкновеннаго поэтическаго слова — такъ мѣтко и далеко бьетъ онъ въ цѣль.

Все, нами сейчасъ сказанное, должно быть подкрѣплено примѣрами и, конечно, за ними остановки не будетъ. Покажемъ же нѣсколько разъ, какъ силенъ Феть въ борьбѣ съ неуловимымъ,

а затѣмъ предоставимъ остальные изслѣдованія самому читателю. Вотъ, напримѣръ, стихотвореніе, о которомъ невозможно не вспоминать въ часы лихорадочной безсонницы, въ глухую безпокойную ночь, подъ вліяніемъ смутныхъ ночныхъ грезъ, иногда налетающихъ на человѣка. Содержаніе вещи сумрачно-неуловимо, какъ таинственный полумракъ между разсвѣтомъ и утренней мглой, но послѣ стиховъ, его характеризующихъ, оно кажется и точнымъ и понятнымъ, и сейчасъ только прочувствованнымъ.

Полуночные образы рѣютъ.	И всплываютъ, и стонуть, и тонуть;
Блещутъ искрами ярко въ потьмахъ,	Но о чемъ это стонуть они?
Но глаза различить не умѣютъ —	Полуночные образы воютъ,
Много ль ихъ на тревожныхъ крылахъ.	Какъ духовъ испугавшійся песь,
Полуночные образы стонуть,	То нахлынуть, то бездну откроютъ,
Какъ больной въ утомительномъ снѣ,	Какъ волна обнажаетъ утесъ...

Какая фантазія и какая правда, какая смѣлость и какая строгость исполненія! Цѣлая тревожная ночь въ этихъ двѣнадцати строчкахъ! Теперь возьмемъ другую ночь и другое ощущеніе, несравненно отраднѣйшее. Поэтъ идетъ по старому рыцарскому Ревелю ночью, послѣ представленія Веберова Фрейшюца. Душа его полна впечатлѣніемъ отъ оперы; старинныя зданія, раскиданныя по неровной мѣстности, будто тѣснятся по узкимъ улицамъ; небеса, посеребренныя луною, сверкаютъ надъ головой, какъ ясная неширокая рѣка, и гдѣ-то вдали на высотѣ, на освященномъ балконѣ, раздаются пѣвучіе звуки рояля. Все, нами сказанное въ прозѣ, схвачено и пересказано поэтомъ. Впечатлѣніе, имъ испытанное, безъ всякой утраты передается душѣ читателя, и волшебною силою пѣсни предъ нами рисуется и старый городъ, и узкая линія серебряныхъ небесъ между древними домами, блестящій балконъ на воздушной высотѣ, и звуки музыки какъ будто къ намъ доносятся. И собственныя воспоминанія, выхлынувъ изъ глубины души нашей, идутъ слѣдомъ за поэзіей, навѣянной стихотвореніемъ. Кто изъ насъ не застаивался ночью, слушая музыку въ какомъ нибудь старомъ городѣ?—кто не уходилъ изъ театра, не заѣзжая въ гости къ Шиллеру, по великолѣпному выраженію Гоголя?

Продолжая обзоръ наше, мы невольно придемъ къ стихотворенію «Пчелы», одному изъ самыхъ фетовскихъ во всемъ собраніи. Смѣло можно сказать, что на русскомъ языкѣ не бывало подобнаго изображенія весенней нѣги, доходящей до болѣзности, смутныхъ душевныхъ порывовъ, не поддающихся даже тѣни анализа прозаическаго! Намъ кажется, что поэтъ, написавши подобное стихотвореніе, не могъ не ощутить нѣкотораго недовѣрія къ своей музѣ — такъ тонокъ и неудобовыражаемъ предметъ имъ взятый, такъ оригинальна манера, съ помощью которой онъ умѣлъ воплотить въ слова все тонкое и неудобовыражаемое въ своей темѣ. Прочитайте это стихотвореніе со вниманіемъ, и вы поймете, отчего мы такъ стоимъ за званіе угадчика поэзи, — званіе, которое при-



Мигъ еще... и нѣтъ волшебной сказки, Твой душистый, твой послушный  
И душа опять полна возможнымъ... локонъ,  
Мы одни; изъ сада въ стекла оконъ Развиваясь, падаетъ на плечи.  
Свѣтитъ мѣсяць... Тусклы наши свѣчи;

Подобной высокой, безграничной, волшебной, изумительной поэзіи надо поискать и поискать во всѣхъ европейскихъ литературахъ. Можетъ-быть, между читателями найдутся цѣнители, способные разобрать «Фантазію» по строкамъ и спросить очень серьезно о томъ, — откуда могли взяться водометы и расписныя раковины, свѣтлыя насѣкомыя и жаръ-птица, качающаяся на суку, извилистомъ и чудномъ? На ихъ замѣчанія и вопросы отвѣчать невозможно. Тотъ, кто самъ въ свою молодость и майскую ночь возлѣ любимой женщины не грезилъ восторженными грезами, не видалъ фантастическихъ чудесъ и призраковъ поэтического міра, никогда не согласится ни съ нашими похвалами ни съ нашими замѣтками. *Дружининъ.*

Лиризмъ чувства всего очевиднѣе обнаруживается въ стихотвореніяхъ, внушенныхъ Фету природою, и которыя, за исключеніемъ нѣсколькихъ антологическихъ, останутся самыми замѣчательными проявленіями русской поэзіи, несмотря на ихъ кажущуюся незначительность. Большая часть самыхъ лучшихъ стихотвореній Фета внушены ему чувствомъ природы. Вотъ первоначальный источникъ всякой поэзіи, и всѣ тѣ, которые не чувствуютъ ее въ природѣ, — напрасно будутъ искать ее въ искусствѣ. Для такихъ людей стихотворенія Фета, дѣйствительно, должны казаться пустыми и бессмысленными. Первое и бессознательное откровеніе красоты дается намъ въ природѣ и, по-настоящему, всякій споръ о поэтахъ и поэзіи слѣдовало бы начинать съ вопроса: «любите ли вы природу, и какъ вы ее любите?» Определеніе чувства природы будетъ самымъ лучшимъ определеніемъ. Потребность этого наслажденія создаетъ любовь къ литературѣ. Наслажденіе же это сообщается только поэзіи. Одна поэзія даетъ самобытность и жизненность литературѣ. Потому, въ какой бы формѣ, въ какой бы степени ни проявлялась поэзія, мы должны радостно привѣтствовать ее. Ничто такъ не дѣлаетъ человѣка лучшимъ, ничто такъ не исцѣляетъ его отъ загрубѣлости нрава, черствости чувствъ, эгоизма, — какъ духовное наслажденіе. Всякій, почувствовавшій наслажденіе отъ какого-либо произведенія искусства, непременно, хотя на самое короткое время, дѣлается лучше. Вотъ въ чемъ заключается благотворное дѣйствіе литературы на общество. Какъ ни мелка, повидимому, роль лирическаго поэта, передающаго ощущенія, возбуждаемая въ немъ природою и своею внутреннею жизнью, но, если слова его оживлены поэзіей, — они не пропадутъ безъ отзыва, они проникнутъ и въ другое сердце, принесутъ ему наслажденіе и непременно,

